

18+

Дмитрий Лашевский

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ



Дмитрий Лашевский

Обратная сторона Земли

Лашевский Д.

Обратная сторона Земли / Д. Лашевский —

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В книгу уральского литератора включены три цикла рассказов, вскрывающих изнаночный узор бытия, исследующих подоплёку реальности, сталкивающих смыслы и страсти, ведущие свою таинственную жизнь в наших сердцах, а также новый роман, представляющий собой социально-психологическую драму, рождённую на стыке утопии и антиутопии.

Содержание

Перевивы	6
Hortus conclusus	7
I	8
Наблюдатели	8
Тут что-то есть	10
Не здесь	17
Прыжок	20
Инопланетянин	27
Без вести пришедший	30
Вспышка	35
II	36
Q	36
Виртуоз	42
Письма с Парнаса	45
Ансамбль	50
История шкафа	55
На запятках	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Обратная сторона Земли

Дмитрий Лашевский

Оформление Ирина Левицкая

© Дмитрий Лашевский, 2026

ISBN 978-5-0069-9442-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Перевічы *расказы*

Hortus conclusus
роман

I

Наблюдатели

Они явились внезапно и тихо, словно ангелы. В первые часы, пока мировые агентства не связали воедино сообщения из разных уголков земли, кое-где их принимали то за туристов из Судана, то за участников новогоднего маскарада. Но уже через сутки повсюду поняли: нас посетили инопланетяне.

И ещё сутки понадобились, чтобы эйфория первого впечатления сменилась недоумением. Это были высокие стройные смуглые существа, можно было бы сказать – люди, если бы их золотистые одежды не оказывались вблизи кожными складками, чем-то напоминающими воланы медузы. Впрочем, их внешний вид был скорее приятен, тем более что большие чёрные глаза придавали лицам какое-то космическое благородство. Только скоро выяснилось, что в неземное выражение этих глаз невозможно проникнуть.

Сколько их было – тысячи, десятки тысяч? Поскольку они походили друг на друга, как муравьи, притом в своих движениях напоминая текучесть расплывающегося миража, счесть гостей долго не удавалось. Возможно, количество менялось, – если допустить, что они могли являться и возвращаться через некий кротовый туннель. Во всяком случае, в течение этих месяцев чуть ли не в каждом серьёзном городе нашей планеты можно было встретить инопланетянина; а иногда, точно изгнанные, они покидали города, шли пешком неизвестно куда, и если сблизались друг с другом среди полей и дубрав, то, подсмотрев миг приветствия, оказывалось, что выражение их лиц способно меняться, пусть изменение это и было стремительным и неясным. В остальном же они были совершенно бесстрастны: бесшумной, неторопливой походкой двигались по улицам, входили в дома, в цеха, в секретные лаборатории, в театры, ни на чём не сосредотачивая взгляд, охватывали всё разом, застывали на минуту, две – и уходили. Не было никакого способа воспрепятствовать им: при всяком прикосновении они исчезали, растворялись в воздухе, дрожа обманчивой дымкой, а потом появлялись за закрытой дверью.

Но не это вызывало раздражение, страх и вот уже почти ненависть. Дело в том, что рухнули все предположения – предположения, за которыми светились разноцветные огоньки надежд. Не было ни вторжения, внятного хотя бы своей агрессией, ни тайного шпионажа, ни мучительного пути к взаимопониманию, ни выручки из галактической беды, ни чуда. Ни, собственно, контакта. Они были недоступны слову, действию, излучению. Их телесная природа скрывалась за оболочкой непроницаемого поля. Находились экстремисты, пытающиеся пробить эту оболочку, атаковать их, уничтожить, – те не реагировали никак: просто исчезали и возникали в другом месте, подобные одинаковым отростам неведомого существа.

Впрочем, даже фикцию общения и обман тысячелетней мечты можно было бы им простить, если бы хоть что-то в них намекало на будущее, откладывая рай, либо, что почти то же самое, если бы можно было их не замечать, как не замечают люди облака причудливой формы, плывущие прямо над головами, или сказочные деревья, напевающие свою шелестящую песню. Но этого-то – не замечать – никак не удавалось.

Инопланетяне не просто присутствовали повсюду, не просто наблюдали – они словно оценивали нас. Возможно, они невольно заставляли землян оценивать самих себя – их чужезвёздными глазами. Пусть неизвестно, что они думали о нас и думали ли вообще, – во-первых, работала аналогия, во-вторых, их присутствие пробуждало скрытую в недрах сознания самооценку.

Они вели себя с той же почтительной бесцеремонностью, с какою этологи иногда проводят свои наблюдения, когда и не прячутся от стаи или клана, и не вмешиваются ни малей-

шим действием в животную жизнь. Абсолютный нейтралитет, позволяющий только смотреть, исключая любой эксперимент, хотя никогда не известно, привыкли ли звери знать в людях подвижные камни, или какая-то первосушащая сила медленно закипает в них. Вот так и в нас, жителях Земли, закипало чувство, что мы перед таинственным разумом – точно животные.

Пожалуй, они незаметно и быстро воздвигли перед тотальной кривдой нашего бытия – своё бесстрастно выправляющее зеркало. Самый факт их этологического обращения с нами превращал уже нас, таких разных, внутренне бесконечных, упоённых земными смыслами, царей природы и её окрестностей – просто в приматов. Внезапно и повсеместно – от Оксфорда до прокажённых индийских деревушек, от тундровых просторов до прячущихся за бронебойными стёклами толстосумов – люди стали понимать, что ими управляют инстинкты, одни лишь инстинкты, что они – вставшие на ноги и научившиеся притворяться не собою животные. Всё, что было ценного и чем гордились: техника, культура, духовность, всё, в чём заключалась наша вера в самих себя и в наше человеческое предназначение, – в космическом зеркале оказалось опрокинуто в беспощадную реальность истины. Мы узнали себя ничтожными, убогими, смешными.

Даже перед смертью человек цепляется за идеи вещественные или высшие, обращается то к нотариусу, то к пастору, держит за руку внучку, пытаясь вселить себя в вечность. Однако инопланетный лик убил и это. Мы обнаружили себя в обратке бытия. Идеалы потеряли значение, а заветная человеческая страсть сладко прожить словно выела сама себя. Вселенная, которую мы видели пронизанной энергией и считали проникнутой нашим знанием, к которой мы уже протягивали руки, поглаживая её, как гладит ребёнок соседского щенка, вывернулась в чёрный ящик. И на фоне этого абсолютно непроницаемого разума, но отнюдь не божественного, а принадлежащего похожим на нас существам, любое наше стремление, любое чувство, любой смысл оказались грубым всплеском инстинкта, не более. Жить в окружении наблюдателей становилось страшно, невыносимо.

Поскольку избавиться от них было нельзя, человечество, как при всяком глобальном кризисе, занялось самоуничтожением. Едва ли какая-то эпоха низвержения богов породила такой ад, как явление этих тихих бесстрастных существ. Третий мир охватили войны; Европа, мирно засыпая вечером, просыпалась в революционном вихре, непонятно как зародившемся за ночь; в Америке количество суицидов увеличилось впятеро; в пустынях и мегаполисах Азии таинственные секты разрастались, будто творения злобного утописта. Движение за атомную бомбу против инопланетян уже вербовало ядерщиков и политиков...

Неизвестно, устоял или взорвался бы наш мир, продлись посещение чуть дольше. Но однажды они исчезли, внезапно и тихо, словно демоны.

Теперь мы одни. Как-то мы знаем, что – навсегда одни, по крайней мере, в пределах солнечного бытия. Бури утихают. Некоторые уже начали забывать. Наши потомки встретятся с легендами. Однако что-то надломилось в мире. Настоящего успокоения нет. Мы не в состоянии ни творить, ни мечтать, как прежде, ни даже действовать или знать. Всё утратило старую цену, а новой мы не обрели. Пока? Возможно. Странное чувство понемногу овладевает сердцами, борясь с заживляющей плесенью времени: что нам по-настоящему не забыть. Пережитый ужас самосознания будет мучить нас, пока мы не сокрушим былую жизнь и не проникнем в непостижимость звёздного совершенства.

Часть былых сект и воинственных партий отмерла, но другие превращают это чувство в лозунг. Они отказываются от всех правил и смыслов старых времён и ищут способов жить иначе. Жить как настоящие люди. И появляются уже пророки, стройные и смуглые, которые ходят в золотистой одежде по городам и молчат. Одному они ещё не научились – смотреть так, как чёрными глазами смотрит на нас всевидящий и непроницаемый космос...

Тут что-то есть

– Тут что-то есть.

– Я бы сказал, тут чего-то нет, – возразил Аэр.

– Tertium non datur, – резюмировал капитан.

Они стояли перед толстым мохнатым стеблем с единственным голым узлом посередине. Он походил на зелёную ногу. Примерно на таких растут ананасы на картинках. Во всяком случае, какая-нибудь большая шишка так и просилась к водружению на эту опору. Может быть, яйцо местного страуса или громадный красный цветок. Тогда они спокойно прошли бы мимо. Когда систематизируешь, не до деталей, даже таких необычных, что не знаешь, назвать их чудесными или чудовищными.

Впрочем, можно было и так пройти. Мало ли какой выверт учинила природа. Возможно, это гриб, завязь или вообще обломок. Но на то у них в команде интуист, чтобы вынюхивать всякие странности.

Гамильтон погладил бархатистое место – круг диаметром около пяти дюймов, – где могла бы находиться пропажа. Потом достал увеличитель и внимательно изучил, чем оканчиваются меристемы. Поверхность растения, несмотря на ровный малахитовый цвет, ровною не была, напоминая хлебный шлиф: испещрённая ямочками, пупырышками, точками мякоть. Но не похоже, что это имело значение: то, что он чувствовал, находилось выше. Там, где ничего не было.

– Пусто, – подтвердил Аэр. Он исследовал материальное, с готовностью оставляя все зыбкие сущности в ведении интуиста. Правда, до сих пор ничего сомнительного им не встречалось. Утверждать же, что вот и встретилось, не позволяли глаза.

– И, тем не менее, здесь что-то есть, – упрямо сказал Гамильтон, проведя рукою сквозь пустоту.

Капитан пожал плечами, достал из рюкзака прибор и направил невидимый луч на невидимую сущность. Гамильтон на всякий случай отогнал шестикрылого перелётыва. Через минуту капитан проделал всё в обратной последовательности – выключил прибор, убрал его в рюкзак, опустил и поднял плечи.

– Здесь нет никакой биомагнитной структуры, – сказал он.

– Биомагнитной?

Аэр поджал губы. От Гамильтона, конечно, хватало пользы на корабле. Он с готовностью отзывался на любую просьбу, шёл хоть в лабораторию, хоть к телескопу или за компьютер и не смущался, что за ним перепроверяли. А иногда переделывали. Приходилось, потому что сам он толком ни в чём не разбирался. Он уверял, что специальное знание вредит интуизму и только глубокий дилетантизм позволяет ему сохранять чистоту своего дара.

– Вы же не косную материю имеете в виду. Любая органика создаёт биомагнитное поле, – сказал капитан.

– Любая-любая?

– Теоретически, если она разрежена до состояния газа...

– Или духа, – вставил Аэр.

– Так-так, – пробормотал Гамильтон. – Дух, дыхание... – Он выудил из одного кармана кусок пластилина, из другого – моток проволоки, игральный кубик и несколько стеклянных шариков и ловким, но явно бессознательным движением соединил всё это в какую-то конструкцию. С удивлением посмотрев на неё, он решительно спросил: – У вас есть газоанализатор?

– Есть, – капитан терпеливо повторил всё то, что перед этим проделал с магнитным детектором. С тем же результатом. На всякий случай он ещё пощёлкал дозиметром.

Гамильтон обеими руками почесал свою круглую, лохматую голову, достал из-за голенища набор никелированных трубочек, превратил их в складной стул, уселся на него и задумался.

Когда они отошли от него шагов на сто, Аэр, всё равно негромко, мало ли, сказал:

– Кэп, вы не думаете, что он забавляется? Не с нами, нет, а играет со своими фантазиями, как кот с фантиком... А иногда мне кажется, что он просто водит нас за нос.

– Я склонен доверять Гамильтону. Вспомните, сколько планет было в пределах гравитационного прыжка – больше восьмисот!

– Да, но бортовой процессор подвёл черту под двадцатью девятью. На остальные мы бы всё равно не полетели.

– Тоже немало. И, заметьте, Гамильтон указал на двадцать пятую в этом списке, на двадцать пятую по вероятности! Вы же не думаете, что это просто удача?

– Как знать, – проворчал Аэр. – Если бы мы могли побывать на остальных двадцати восьми. Что, если и там в лазурном небе горит радужное солнце, по шелестящей траве прыгают многоножки, вечерами идёт дождь, а утром весь иллюминатор в паутине...

Капитан только покачал головой.

– Самое любопытное, – заявил Гамильтон, – что я где-то видел это растение. Может быть, его родственника, только в полном виде, что ли... ну, с головой. А вы?

– Нет, – отрезал Аэр, – никогда и нигде.

– Может быть, что-то похожее, иного цвета или размера, на какой-нибудь планете, где оно было бы неприметным среди иной флоры или иного климата... Не сыщется ли сюрприза на задворках памяти?

– Смею заметить, – с нотками торжественного недоумения проговорил капитан, – что планета, которую мы открыли – которую вы открыли! – планета Гамма, это первая планета с высшими формами жизни, ставшая доступной человеку.

На интуиста это сообщение, или, скорее, это напоминание произвело только половину впечатления.

– И что, – живо спросил он, – её не с чем сравнивать?

– Только с Землёй, – сказал капитан.

– И каковы результаты?

Ответить вызвался Аэр.

– По степени любопытности они, конечно, уступают вашему цветочному, или кто оно там, дежавю. Здесь ведь всё необычное, и вопрос не в том, каков этот мир сам по себе, а насколько он логичен. Попадается кое-что неожиданное: органические вещества, каких не существует у нас, способы репродукции, политеры и поликорды... Однако всё это отлично вписывается в общую картину, мир Гаммы самосогласован; и более того, мы вполне могли бы, с некоторыми поправками, спроецировать на него логику земной природы. То есть тут рай для натуралиста, но для фундаменталиста – ничего экстремального.

– Самосогласованный мир? – взъерошил волосы Гамильтон. – Так-так. А скажите, водится здесь что-то вроде коровы? Или козы...

– Ну... водятся, – опешил Аэр и махнул рукой. – Гуляют вон за тем лесом. Только зачем они вам понадобились?

– Возможно, у них есть дополнительные органы чувств...

– Которые выявляются лишь в поведении, – догадался капитан.

– ...и они способны отреагировать на это, что там есть, – закончил Гамильтон. – Пойду, попрошу роботов, пусть изловят экземпляр.

Когда он, плотненький и круглолицый, выкатился из кают-компания, Аэр с раздражённым восхищением сказал:

– Вы заметили, как он это произнёс: «попрошу роботов»? Если мы встретим гуманоидов, я останусь без работы.

«Что-то вроде коровы» стояло на трёх ногах и мычало. Впрочем, поскольку ноги располагались в один ряд, стоять оно или всё-таки она не могла и, чтобы не упасть, должна была поочередно перебирать конечностями. Это обеспечивало ей непрерывное движение. Возможно, эволюция наделила экзокорову такой ленью, что только статическая неустойчивость заставляла её менять место кормёжки. Сейчас натянутые двумя роботами верёвки не давали ей двинуться, и казалось, что животное приплясывает.

– Да это настоящий гиромобиль! – воскликнул Гамильтон. – Подведите.

Её не надо было тащить – только задать направление и ослабить верёвки. Корова протянула морду к зелёному постаменту, – интуист протянул навстречу ей букет местной кашки. Вильчатым языком, расположенным прямо в обонятельной полости, корова захватила цветы и поволокла внутрь себя. При этом её голова оказалась точно в обруче пустоты, который капитану, вместе с Аэром наблюдавшему всю сцену, показался болезненно ощутимым, почти видимым. Он подумал, как это напоминает трюк циркового артиста, движением рук заставляющего поверить в предмет, которого нет.

– Господин интуист нас так с ума сведёт своими иллюзиями, – проворчал Аэр. Очевидно, он прочитал мысли капитана. Во всяком случае, первоначальные ухмылки на их лицах сменились опасливым и чуточку брезгливым выражением.

Хладнокровной оставалась одна корова. Гамильтон же скакал перед ней, заставляя под разными углами приближаться к объекту, проводить языком по его шершавой поверхности и тоскливо мычать. Ничего не менялось. Корова вела себя так, будто перед ней коряга или другая традиционная несъедобность.

– Ещё кто кого сведёт, – заметил капитан.

Гамильтон отчаялся, отпустил зрителей и участников, разложил стул и уселся размышлять. Пошёл дождь. Некоторое время он с интересом наблюдал, как капли падают на зелёную площадку. Если тщательно подсчитать, возможно, часть влаги просачивается внутрь. В целом же, картина была безрадостная. Он превратил стул в зонтик и побрёл к кораблю.

В иллюминаторе показалась взлохмаченная голова. Капитан торопливо выбрался наружу. Стул, он же зонтик, воплотился в лестницу. Поскольку длины не хватило, один из роботов участвовал в процедуре в качестве опоры. На вершине сооружения, пошатываясь, интуист, с помощью сканирующей лупы, обследовал поверхность стекла.

– Гамильтон! – крикнул капитан. – Если вы сверзитесь оттуда, то расшибётесь насмерть. Понимаете? Или вы думаете, что всё ещё в невесомости?

Сверху был командован спуск.

– Что выяснили? – поинтересовался капитан, когда интуист достиг земли.

– Две вещи, – тот вместо двух пальцев поднял обе руки. – Во-первых, у паутины всего лишь осевая симметрия, и то неточная. У неё два фокуса, хотя её плетёт один паук. И другое... Она появляется каждое утро, а вы встречали её в лесу?

– Кажется, нет...

– Я тоже. Но на моём растении... как бы его назвать...

– Уникум Гамильтона, да и всё, – предложил подошедший Аэр.

– Хорошо. Так вот, на уникаме паутина появляется столь же регулярно. А потом... Я думал, что её смывает дождь. Но она просто тает. Я бы хотел препарировать паука.

– В наблюдательности вам не откажешь, – сказал Аэр. – Но, бьюсь об заклад, из этих фактов не следует никаких выводов.

– Что ставите? – быстро спросил Гамильтон.

– Десерт!

– Хорошо. Развитая природа не создала здесь, сколько мы можем судить, никакой разумной формы. Противоречие? А что, если некий неподвижный и непостижимый разум гнездится в нашем цветке? И тут являемся мы. Как ему вступить в контакт, как сообщить о своём присутствии? Ему нужен материальный партнёр – и он его находит в лице, или, вернее, в лапках крохотного паучка. Паутина – единственный доступный ему язык коммуникации, остаётся только расшифровать её символы. Возможно, два фокуса это и есть указание на диалог миров. Ну, чем не обобщение?

– Сдаюсь, – сказал потрясённый космической логикой Аэр. – Действительно, остался пустяк – расшифровать паутину.

– Только, прежде чем заняться препарированием, – заметил капитан, – убедитесь, что здесь колония пауков. А то погубите единственного свидетеля...

– Вы похудели, – тревожно заметил капитан дня два спустя.

– Несмотря на десерт, – грустно добавил Аэр.

– Я разочаровался в вещественном, – заявил Гамильтон. – Оно всё состоит из намёков, а как только приступаешь к анализу, – груда разрозненных деталей. Какие-то хромосомы, волокна... Разгадки уникама в пауках я не нашёл, зато их собственная загадка – осталась.

Он говорил, машинально сооружая очередную бессмыслицу из того, что выуживал из комбинезона или нашаривал на столе.

– Вы по-прежнему убеждены, что там что-то есть? – спросил капитан, успевая выхватить из коротеньких, но ловких пальцев интуиста лазерный фонарик.

– Что-то или кто-то. Как в первую секунду. Однако ни малейших материальных проявлений. Возможно, это и вправду дух. Некое мнимое существо, симбиотически сращенное со стеблем.

– В таком случае, – сказал капитан, – перед нами именно математическая комплексность. Уникум воплощает вещественную компоненту, а предполагаемый дух – мнимую. Нас же не удивляет (интуист приоткрыл рот, Аэр шевельнул бровью), что реальные физические процессы не могут быть описаны иначе, как с помощью комплексных чисел. Но соображения симметрии требуют, чтобы где-нибудь и математическая абстракция могла осуществиться в подобном уникаме. Нам просто повезло!..

– Но как с этим везением поступить? – растерянно спросил Гамильтон.

– Любоваться, – ответил Аэр. – Я надеюсь, вы не собираетесь препарировать дух.

По лицу Гамильтона было видно, что он как раз собирался, только не знал, как приступить к делу.

– Что, вообще, можно сделать с тем, – продолжал убеждать Аэр, – что не имеет ни содержания, ни формы?

– Мне кажется, я чувствую его форму, – нерешительно заметил Гамильтон. – Оно округлое, вернее, шаровидное, чуть вытянутое...

– Эллипсоид, – вставил капитан.

– Да... И внутренне прозрачное, но прозрачность эта каким-то образом ощутима... Я бы даже сказал, что оно с ресничками.

– Внутренне прозрачное, но с ресницами, – хмыкнул Аэр. – Око бога!

– Которое, – капитан пошевелил пальцами, – что ни утро омывает своими узорами паучок. Поскольку бессмысленно омывать чистейшее на свете росой или чем-то подобным, материальное бытие предлагает лучшее, что у него есть, – подобие слова, отражение изначальности, вязь линий, лишённых значений.

– Боюсь, – присовокупил Аэр, – что, даже если оно вас зрит, вы не сможете ответить тем же. Любовь к богу подобна любви слепца, который, осязая предмет своей страсти, не в силах его постичь способом самым желанным и точным.

– Стоп! – Гамильтон движением руки отменил Аэра, пристально глядя на капитана. – Вязь линий, лишённых значений... Я что-то припоминаю. Надобно пошуровать в энциклопедии...

Час спустя на экране появилась картинка: ряды небывалых цветов, подписанных мелким буквенным шифром. Одни из них были с ногами, другие – с руками, третьи – с чем-то вроде механически скомпилированных лиц.

– И что это? Разве здесь есть уникам? – спросил капитан.

– самого уникама нет, но есть сходство, есть его идея! – гордо объяснил Гамильтон. – Говоря коротко и просто...

– Да-да, попроще, – ввернул Аэр.

– ...существует древний документ, о котором известно только то, что он подлинный.

– Насколько древний? – уточнил капитан.

– Европейское средневековье, так называемый манускрипт Уойнича, по имени хранителя. Ни кто его автор, ни какова была его цель – ни малейших сведений. Вы сами видите, что ни одного растения, тут изображённого, в природе не существует, хотя любой элемент где-нибудь да отыщется. То же самое с текстом: он представляется шифром, были версии, что это зеркальное письмо, взявшее за основу смесь нескольких алфавитов, однако ни одному криптологу не удалось его прочесть. Можно допустить, что это абракадабра, два бреда, наложенных друг на друга; но весь труд громоздок и непомерно скрупулёзен для сумасшедшего и, с другой стороны, слишком наивен для мистификации. Никакого логического обоснования манускрипту дано не так и не было.

– Но вы нам его дадите? – не удержался Аэр.

– Единственный рациональный вариант: автор имел доступ к той реальности, которую изобразил!

– Куда уж рациональней, – обронил капитан. – Понятно, что как он в неё проник, где она находится и почему захлопнулась, – эти вопросы вне обсуждения. Я уж не говорю про языковую реальность. Но какое отношение ко всему этому имеет уникам, пусть его материальная часть слегка и напоминает эти... гибриды?

– Даже тень сходства, – сказал Гамильтон, – способна дать ключ к разгадке. И зря вы выносите реальность за собственные пределы. Если есть в мире что-то иное, то оно находится внутри сознания. Манускрипт запечатлел потустороннюю реальность, – в таком случае, уникаму должен указать, как в неё проникнуть.

– Что он делает?

– Проникает, – Аэр пожал плечами.

– Третий день...

– Кэп, признаться, я тоже утомлён. Перед нами грандиозные задачи, за нами – не менее грандиозные свершения. Межзвёздный перелёт, планета с биосферой, открытие новой жизни. Бездна информации, требующей обработки. Самый двусмысленный, какой только можно было получить, ответ на вопрос о нашем одиночестве во Вселенной. Возвращение, наконец. Вы знаете, что такое возвращение? И я не знаю. Никто никогда не возвращался. А это гравитационный опыт – только во-вторых. Прежде всего, нам предстоит поединок между временем и душой. И вот вместо всего этого – уникам Гамильтона!..

– Вам же ничто не мешает проводить ваши исследования, – миролюбивым тоном произнёс капитан. – Как и мне свои, которые, в общем-то, закончены. Касательно помощи, то любой робот заменит трёх Гамильтонов. Что вас так беспокоит – его бесчувственность к мас-

штабу событий? Каждый из нас психологически подготовлен к участи космического Робинзона, и вдруг такое волнение...

– Полноте, кэп, моих нервов хватит на трёх роботов. Просто всё, что мы делали до сих пор, и то, что нам ещё предстоит, происходит... ну, как бы... перед лицом человечества, что ли, извините за высокопарность. А у Гамильтона мозги обращены к этому уникаму пустоты, чёртову богу виртуального цветоводства или что оно там ещё. И это раздражает – признайтесь, ведь вы это чувствуете? – потому что заражает. Я в каждом отчёте, вместо того, чтобы перечитать его земными глазами, выискиваю – не найдётся ли объяснения нашему... призраку Гаммы. Мой голос, капитан, – за то, чтобы покончить с этим.

– Хорошо. Так и так – срок подходит. Вечером мы втроём всё обсудим.

Но к ужину интуист не появился.

Тогда двое при свете лун – золотой, розовой и серой – отправились на поляну Гамильтона. Тот сидел на привычном месте, в самом деле, как мумия перед призраком. Появления товарищей он, казалось, не заметил. Поляна была озарена, как при земном закатном сумраке, только цвета странно, диковинно переслаивались. Голубоватые тонкие облака, в зависимости от высоты, преломляли свет, заставляя наплывать друг на друга разноцветные тени. В трёхлунном ореоле уникаму Гамильтона с изогнутым посередине стеблем и пустым постаментом выглядел, словно напрягшийся перед родовыми муками. Ветерок шевелил волосы на голове у интуиста.

Капитан обошёл уникаму и почувствовал, что у него волосы сейчас зашевелиятся и без ветра. Гамильтон смотрел прямо на него, но не видел, потому что взгляд его оканчивался там, где ничего не было. Капитан обратился к нему и даже помахал рукой, но интуист не отреагировал. Он чуть подался вперёд, словно склонившись над краем пропасти, неподвижно глядя в самую сердцевину невидимой воронки.

– Помогите мне, Аэр.

Вдвоём они приподняли интуиста.

– Какой он, оказывается, лёгкий, – удивился Аэр.

Оказавшись у них на руках, Гамильтон не очнулся, а просто закрыл глаза и уснул. Так они его и донесли до корабля.

Мимо текло время. Корабль вползал в рукав спирали, из которого, словно из пращи, должен был устремиться в поток возвращения. Пришлось включить искусственное тяготение, поскольку Гамильтон в невесомости превращался в плавающий мешок. В прохудившийся мешок, из которого что-то высыпалось, и дребедень, и сущности.

Сейчас он сидел за столом, всё так же глядя прямо перед собой, посасывая коктейль из гидратора. Даже не столько застывший взгляд, сколько неподвижные руки делали его страшноватым. Стоящий за его спиной робот заботливо придерживал трубочку.

– Кажется, вы были правы, Аэр, – сказал капитан.

– Боже, в чём?

– В самом первом определении. Помните, вы сказали: тут чего-то нет. Простое преобразование даёт следующую формулу: тут есть отсутствие. Антибытие. Не пустота, а некий вычет, дырка, требующая заполнения. Вот наш друг её и заполнил... своим разумом.

– Я не знаю, что за воронка втянула его на Гамме. Но впечатление, что ничего не кончено, что он... продолжает отдавать себя. И мы можем только его усыпить, а потом опять – этот вперенный в никауда взгляд и полная физическая апатия...

– Если он и вправду проник в неведомую реальность, она его не отпустит. Внутри сознания – вот его последние здравые слова.

– Здоровые ли!.. Но в кого же тогда он переливает свою душу – в собственное зазеркалье? Какую пустоту он заполняет? Вообще, забавно: я был прав. А господин интуист создал целый выводок фальшивых версий.

– Ну, почему, в каждой был свой резон, свой элемент истины, даже в корове. Её безразличие к уникаму, – так относятся либо к абсолютно привычному, либо к абсолютно чужеродному. А тут – сочетание...

Аэр покачал головой и в раздражении заходил по каюте, но вдруг остановился:

– Кэп, поглядите-ка.

Капитан подошёл к иллюминатору. Миллионы немигающих звёзд пристально смотрели на него из вселенной.

– Да вот же, – Аэр показал пальцем.

Капитан пошарил по карманам.

– Куда опять задевались мои очки!

– В левом боковом кармане зелёной рубашки, – раздался голос от стола.

Капитан открыл гардероб, – очки были именно в зелёной рубашке. Лицо интуиста оставалось непроницаемым, а слова были произнесены с таким выражением, что можно было подумать, будто робот заговорил голосом Гамильтона.

Аэр недоверчиво посмотрел на двух этих бездушных существ, достал из коробочки, где были сложены вещицы интуиста, игральный кубик и кинул его на стол.

– Пять, – объявил Гамильтон.

Кубик попрыгал и остановился. Выпало пять. Аэр пять раз и повторил опыт. Четырежды интуист угадал, затем замялся – и кубик свалился со стола.

Капитан и Аэр обменялись взглядами.

– В сущности... – начал один.

– ...мы не так уж много потеряли. В рабочем смысле – даже и ничего, – заключил другой.

Кубик больше не бросали, и Гамильтон замолчал, не сводя глаз с волшебной точки. Двое вернулись к иллюминатору.

Крошечный паучок бегал по стеклу, выписывая вензеля. Отдельную паутинку нельзя было даже рассмотреть, – только пучки; а в целом, намечался витиеватый и далеко раздробивший первоначальную симметрию узор.

– Но мы же профильтровали корабль! – воскликнул капитан.

– Может быть, это тот якобы препарированный паук, – предположил Аэр. – Да и зачем его было препарировать, если... – он наклонился к компьютеру и пролистал назад бортовой журнал. И рассмеялся: – Профильтровали! А этот тип отлежался в томографе.

Они несколько минут наблюдали за работой инопланетянина. Тот, казалось, что-то почувствовал и замедлил движение.

– Посмотрите, – прошептал Аэр, – там, внутри, в глубине узора, вот эти искривления, в миллиметр, в два – ведь это какие-то знаки. Он словно пишет послание!

– Тогда – это лишь письмоносец, – возразил капитан.

– Переводящий в паутинный язык разум Гаммы?

– Разум Гаммы – что это такое? Его нет, вернее, он есть – отсутствие, вакуумный клапан, зеркало без амальгамы... Боюсь, что в этих письменах – всего лишь разум Гамильтона...

Они посмотрели на интуиста. Какой-то румянец появился в его закаменевшем лице. Он по-прежнему сидел за столом, практически бездвижно и без малейших изменений мимики, но что-то в пустоте его взгляда, уловившего высшее Ничто, выдавало совершившийся труд. Возможно, это и был вдохновенный и мучительный труд творения нового разума...

Не здесь

Согласно сведениям, собранным по разрозненным отрывкам и обмолвкам, по ссылкам на, увы, утраченные тексты, в древности где-то в пространстве между Атикой и Малою Азией сформировалась секта *акметов*. Она возникла то ли в качестве непосредственного, хотя и утрированного, подражания опыту Эпеменида, то ли гораздо позже – вслед за Аристотелевой оценкой эпитомы Феофраста, посвящённой Диогену комментарию данного опыта. Как бы то ни было, идеология акметов очень скоро оторвалась от всяческих школ и подражаний.

Акметизм, сколько можно понять, базировался, словно на трёх китах, на трёх понятиях, и вообще принципиальных для эллинизма, понятиях, входящих в основной круг человеческого самопознания, этой стихийной гносеологии. Именно, речь о *смерти*, *душе* и *сновидениях*. Замечательно, что ни одно явление из этой троицы, взятое в отдельности, не особенно интересовало акметов, – во всяком случае, безымянный римский историк (увы, облыжно обвинённый потомками в мистификации), впервые подытоживший их деятельность и изложивший, с множеством конъектур, сохранившиеся к тому времени отрывки из акметических трудов, свидетельствует о том, что отсутствие сколько-то оригинальных суждений, даже на уровне афоризмов, а также взглядов и разработок указанных понятий. Можно предположить, что сектанты просто не утруждали себя тёмными тематическими размышлениями, вслед за, что ли, Аристиппом относя *смерть* к материально, а *сновидения* – соответственно, к идеально непостижимому.

Что же касается *души*, то умолчание, в данном случае, как раз и является оригинальнейшей в эллинизме трактовкой. В этом умолчании ясно читается неразвитое, невысказанное отрицание *души*, характеристика и интерпретации которой вообще-то составляют любимый предмет древней философии. Положим, такое умолчание не включает в себе (да и не претендует) никакого взгляда, – это не отрицание, а отстранение: мол, мы ничего не знаем и не можем сказать о жизни души.

Им нечего было сказать о *жизни души* потому, что моментом актуализации последней, по мнению акметов, служила смерть. И пространством, где разворачивалась эта своеобразная *жизнь после смерти*, были – *сновидения*.

Итак, к существу. Не имея возможности выделить душу в качестве самостоятельной субстанции, своеобразной телесной тени или, напротив, предданного феномена, мы, казалось бы, окончательно утрачиваем эту иллюзию со смертью. Душа умирает даже не вместе с телом, а – в теле, умирает, в сущности, даже и не родившись, поскольку никогда и не осознаётся акметом как бытствующая. Но есть лазейка. Смертный сон, то есть, собственно, сновидение, застигающее человека на последнем пороге и затейливо обставляющее его уход из жизни, – не переход ли это только, возникающий как раз вследствие продлённости спящего мозга за пределы бытия, переход в самый туннель, служащий тогда не проводником, а истинною целью всего путешествия? Да, это так. Именно там, где заканчивается всякая человеческая воля и человеческое знание, где заведомо невозможны никакие спекуляции, душа обретает-таки свободу быть – и уходит в неведомый край. Нужно только чуть подтолкнуть её, помочь, создать условия...

Разумеется, невозможно подгадать свою смерть, чтобы она пришлась в точности на сновидение, – да и что ещё приснится тогда, как две с лишним тысячи лет спустя заметил поэт, чьё существование, кстати, не было ли только акметистской компиляцией... Так и возникла секта.

В жарко натопленной пещере, проскваживаемой, впрочем, через многочисленные щели ледяными струйками ночи, спали решившие отправить свою душу в поход за спасением; а другие, чей черёд ещё не настал, всматривались при подрагивающем свете факелов в их лица. Предварительные исследования и многочисленные проверки, возвращающие претендентов с последнего порога, позволили акметам, как сказали бы ныне, наработать богатейшую эмпири-

ческую базу. По незначительным изменениям мимики спящего, по ритму дыхания, по произвольным движениям губ и пальцев и прочим подобным признакам они с уверенностью могли сказать, снится ли человеку устойчивый, обладающей внутренним временем и насыщенным пространством сон, и если да – то в благоприятные ли эмоциональные тона он окрашен, способен ли он вместить исходящую из тела душу. Засим – оставалось поднести к ноздрям склянку с ядовитым курением. Сердцебиение прекращалось почти мгновенно, лоб каменел, но опытный взгляд ещё несколько минут мог различить следы движения: будто обнажались трещины, по которым душа просачивалась в заповедный мир...

При такой практике понадобилось, вероятно, немного лет, чтобы секта извела сама себя. Несколько ещё остававшихся в живых акметов вынуждены были прекратить исход, дабы всё же передать свой несостоявшийся опыт и свои пленительные идеи потомкам. При этом вопрос, отказ от которого был заложен в само основание их веры, возник в форме парадокса.

Если сновидения – суть компиляция реальности, пусть освещённой пророческими зарницами интуиции, то та жизнь, в которую отправлялась душа прямо из смерти, не могла протекать в бытии, вовсе чуждом действительному знанию, а, только касаясь нездешних пределов, должна была бродить по тем же самым переулкам, изошрённо скомпонованным случаем, где числили свою родину миллионы и миллионы тел, «с улыбкой ясной узнавая повсюду нам знакомый край», как заметил один из надломленных адептов акметизма, выступавший под лукаво видоизменённым брендом. Тогда получалось, что бессмертие души состоит в перебирании вариантов обыденности? Такая мысль грозила разрушить всё стройное здание акметовского умозрения.

Выход из парадокса был найден одним из жрецов уже в средние века, когда распространение христианских ересей сделало лёгкою вербовку любых неопитов, в том числе и тех, кто, воплощая идею спасающей душу смерти во сне, увы, профанировали тщательную, ювелирную подготовительную работу и подменяли искусство сновидений религиозным экстазом. Тем не менее, расшатанная теория позволяла немногим хранящим истину жрецам с благожелательным сердцем отправлять души новобранцев в новые странствия. Выход же этот, на первой стадии, заключался в признании особой творческой силы посмертных сновидений, способных, объединяя индивидуальные усилия, создавать иной, физически непостижимый мир. Дальнейшие размышления были посвящены анализу того, к каким же формам существования могло увести наши души их слияние там, где, казалось бы, каждая душа должна остаться один на один с вечностью.

Вполне логично, что заключительная стадия доводила эти смутные предположения до полной инверсии. С точки зрения современных акметов, скрывающих свои убеждения под покровом некоторых наиболее туманно-мрачных и одиозных концепций мироздания, земная действительность и есть тот самый воображаемый, скомпилированный из лоскутов иной, истинной реальности мир, который заселяют исключительно души прошедших сквозь горнило сновидений. Если и есть в этом утверждении какие-то отголоски теории реинкарнации, то самые далёкие. С позиций акметизма, мы уже умерли и теперь снимся сами себе; и тот же офонаревший грек зашифровал это понимание в своём знаменитом требовании человека.

То чувство собственной души, какое свойственно любому из нас и какое одно направляет наш путь, пренебрегая выгодами её призрачного вместилища, как раз и свидетельствует, что мы уже не люди, а облачённые в их образ души. Разница же в нашем бытии, порой и двум не позволяющая договориться о смыслах видимого, объясняется естественным различием сновидческих сюжетов. Наше воображение, таким образом, развивается в рамках некоего единого предшествующего опыта. Каков же он? Кем мы были до того, как породить свои души?

То, что здесь называемо смертью, превращает их в ничто. Но отсутствие души, то есть отсутствие всякой мысли и мнения о ней намекает на то, что и внутри ничего есть жизнь. Вернее, была. Как её достичь, как обернуть себя – вспять?

Некоторые из акметов, участвующих в термоядерных проектах, считают, что это возможно, если всем земным душам, сколько их ни есть, удастся слиться в едином смертном сновидении. Тогда – мы вновь обретём себя: такими, какими создала нас природа. Но будет это уже – не здесь.

Прыжок

«Через кровавые революции, фашизм, сталинизм, геноцид, апартеид, экстремизм и сепаратизм... И, однако, настоящее крушение атлантического гуманизма, столетиями, от Колумба и Микеланджело, скрупулёзно выстраиваемого по обе стороны океана, началось несколько позже. Связано это начало с почти геометрическим осознанием нациями того социального закона, что борьба за (как торжественно, непременно стоя, тогда говорили) *права человека* будет тем успешнее, чем менее прав человек будет для себя требовать, чем меньше будет площадь неопределённости в его действиях и интересах. Поскольку свободно и независимо живущий человек не только подвергает себя множеству угроз со стороны мира, но и обладает своеобразной виктимной аурой, провоцирующей эти угрозы, единственный путь к тотальной безопасности – ограничить свободу и независимость. Но нельзя было просто лишить людей их прав – необходимо было, чтобы они, оценив выгоды сокращения разнообразных мировых угроз, сами бы отказались от ряда свобод, принципов и традиционных элементов личного достоинства. И замечательный пример этому был явлен в спорте, где допинг-угроза, в сочетании с рекламно-материальными благами, превратила *презумпцию невиновности* из основополагающего гуманистического принципа в юридический казус...»

Всё это журналист настучал пальцами в планшете, с непривычки сея опечатки, тут же, впрочем, исправляемые редактором. Глаза же были заняты картиной, которую – он, при всей сценарной искущённости, не мог сразу решить – то ли перед ним разыгрывали, то ли нет. Женя заваривал кофе, когда в трейлер вошёл высокий, гибкий юноша. Женя всплеснул руками, потом эти двое стукнулись правым плечом, левым и опять правым, обнялись и отпрянули друг от друга, обмениваясь восклицаниями.

– Максим Сентябрьёв, – обратился, наконец, Женя к журналисту. – Знаете?

Тот с удовольствием, прижмурившись и встопорщив кошачьи усы, кивнул. Как же, как же. Максим Сентябрьёв, мемориал Знаменских, Европа в залах, восходящая звёздочка, государственный рекорд. Его несколько не задело, что имени его Женя не назвал: скорей всего и не помнил, а чем тут занят – так понятно.

Спортсмены присели к столу, пытаясь сообразить, сколько ж они не виделись.

– Второй год пошёл, – сказал Максим. – Да и тогда-то – мельком, на ногах.

– Сборы, сборы, – поддакнул Женя.

– Трени, трени, – в тон ему ответил Максим.

– А оброс как, а ведь всегда стриженным ходил, – Женя протянул было руку к косичке, в которую были свиты волосы друга, но тот резко мотнул головой.

Кухня была тесная, и они почти упирались друг в друга коленками. Журналист ещё раз окинул взглядом посуду, микроволновку, шкафчики. Ничего интересного. Впрочем, и в той части, которую Женя высокопарно назвал лабораторией, и где располагались томограф, анализатор, велостанок да ящик с витаминами, его цепкий, криптологический взгляд не обнаружил ничего сенсационного. Сенсация – вот она, сидела перед ним и грызла сушки.

– Вы бросаете вызов конкретным людям или спирали исторического развития? Или чему-то третьему? – задал он вопрос.

– Скорее, кому-то третьему. Самому себе, – Женя ответил быстро, но как-то чересчур серьёзно, хотя эта серьёзность могла быть и заученной.

Журналист чиркнул глазами по планшету. Отражатель улавливал микросекундную задержку зрачка, услужливо подставлял буквы редактору, а тот, опережая мысль с той же иллюзорной точностью, с какой крик в сновидении предшествует выстрелу, конструировал текст. Журналист поднял глаза. Можно было подумать, что он просто занёс ответ; появился же целый абзац.

«Моральная деградация искусства и спорта, с одной стороны, и политических и семейных отношений, с другой, неминуемо должна была повести, по мере умножения и ужесточения правовых критериев, к самоуничтожению гуманистических принципов. Их царствование, до некоторой степени, напоминало правление короля, власть которого, по остроумному постулату Бодрийера, этого пророка Нашего времени, зиждется на настоятельной возможности быть убитым. И когда король гуманизма пал...»

Вышло цветасто, но как и любил завред. *За вред* – называли они между собой шефа. «Баламутьте воду, – требовал он, – баламутьте. Особенно дистиллированную». Журналист вручную поправил фамилию философа, написанную почему-то по-английски, подул на пальцы и обнял горячую кружечку. Печку в трейлере сейчас отключили, а в Испании об эту пору прохладно. Он искоса посмотрел на Сентябрёва, думая о его роли в репортаже. Тот чем-то опечалился или просто вдруг замечтался.

– О чём задумался? – заметил и Женя. – Или ты уже – там?

– Там...

Максим разминался, когда вызвали бегунов. Они протрусили мимо него разноцветной стайкой, старательно не глядя друг на друга. По трибунам пронёсся рокот – так издали, что трудно было представить, как же гроыхнёт по-настоящему. Покачиваясь в полушпагате, он решил, что сначала прыгнет для пробы. Присмотреться – да и не перебивать забег.

«...Ещё рано говорить о том, что эпоха, когда симуляция принципов была, так сказать, возведена в принцип, когда цели, во имя которых разрабатывались всё более подробные и иезуитски-ограничительные правила, оказались подавлены формализмом средств исполнения законов, когда и сами жизненные нормативы, не способные, в духе теоремы Геделя, объять всей реальности, вступали в постоянное разбойничье противоречие друг с другом, – рано говорить, что эта эпоха отошла в прошлое. Но, по крайней мере, в области спорта, растоптав тысячи и тысячи судеб (но не миллионы и миллионы жизней, которые унёс только сепаратизм, мягчайший из коллективных суицидов), стало ясно, сколь сильна логика отрицания отрицания, – и что точное исполнение законов является лучшим средством их разрушения. Это был первый удар по глобальной антидопинговой программе, устаревшей ещё при своём рождении. Второй удар нанесло появление квантовой фармодинамики».

– И всё-таки, это донкихотство или вы, в самом деле, надеетесь одолеть этих... монстров?

– А вы-то сами считаете их монстрами? – спросил Женя.

Он-то сам – странная, неестественная формула. Добро и зло, как их трактовали гуманисты, в этом мире давно исчезли; и совершенно неизвестно, что за душевные состояния соответствовали даже чётким прописям какой-нибудь инструкции по безопасности. Что-либо *считать*, отстаивать идеи могли себе позволить только симулянты третьего порядка. Во всяком случае, его задача была – возбуждать мнения, а не высказывать их. Поэтому журналист, скользнув взглядом по экрану, процитировал сам себя:

«Решающим аргументом, наряду с переходом допинг-войны на новый технологический уровень, стала историческая память. Несмотря на все усилия, функционерам не удалось дискредитировать героев. Армстронг так и остался семикратным, – и никто не помнит, кем он был замещён, хотя и среди них попадались славные имена. До сих пор в сердцах живут олимпийский финиш Шипулина и Легкова и увенчавшаяся мировыми рекордами тройная дуэль супертитанов штанги в Астане. Все помнят два эпических поражения Карла Льюиса, и если б не ямайское чудо (девять минус один в скобках) в начале столетия, эти 9,59 от Бена Джонсона поныне золотом горели бы в наших душах. Можно вспомнить, вернее, нельзя забыть удивительные победы в Лондоне российских бегуний и ходуний (что? – но всё равно придётся поправлять вручную), а также финских лыжников, китайских пловцов и многое-многое дру-

гое. Разгадка проста: действительная победа свершается не на арене, а в сознании, в коллективно свидетельствующем сознании. Ещё Гомер опубликовал жизнь богов; и если бы историки собрали неоспоримые доказательства того, что, скажем, Гектор поразил Ахиллеса, это ни на йоту не изменило бы той *Илиады*, что впечатана в память человечества...»

Диктор оперным баритоном объявил:

– Состав участников забега на десять тысяч метров за звание объединённого соматического чемпиона мировой системы.

Трибуны загудели, готовясь к рёву. Максим проверил параметры, разбежался и прыгнул. Уязвимую точку в геомагнитном поле он сразу нащупал. Всё же, пожалуй, придётся ещё раз, чтобы приноровиться к воздуху.

«И сейчас мы находимся перед прыжком в новую спортивную эру! Но состоится ли он, не обернётся ли грандиозным конфузом?»

Журналист вышел на улицу. Ветер швырнул ему в ноги ворох листьев. Они были ещё почти зелёные, с сиреневыми прожилками, но уже не могли, не держались, ссыпались с деревьев, умирая на лету. Он поднял воротник и подумал, что следует коснуться и этого. Абсурдные претензии на сбережение климата. Попытка управления ирреальностью. «Ибо наука только тогда вполне овладеет своим предметом, когда уничтожит его», – повторил он заповедь пророка.

– Кипчанг, Кения, норэтандролон!

Рёв, свист, улюлюканье. Журналист почувствовал, как его захлёстывают эти скрещивающиеся потоки. Никто не мог остаться верным одной эмоции. Её просто вышибало из души, как ударом урагана, – и та потом болталась на поверхности людского моря, отданная всем волнам и ветрам.

– Крис Уайт, Соединённые Штаты, эпитестостерон!

Какое-то рычание, смесь ненависти и подбострастия.

Абу Абдир, Марокко, кортикорелин!

– Макси, а помнишь, как мы нашли клад? Ты его – а?

Сентябрёв повёл плечом. Что-то неприятное в этом местном обращении. Как будто напоминание о том, какими разными путями они сюда попали.

– Лежит он, что ему делается. Мы же договорились: на самый крайний день.

– А я думал... – Женя осёкся.

Во время второго расцерковления часто попадались такие клады. Никто даже представить не мог масштаб накоплений. Десимуляция, конечно, не удалась, но сундуки растрясли. Женя был старше и уехал двумя годами раньше. Сентябрёву, он знал, пока тот в команду пробился, туго приходилось. А эти детские клятвы...

– Выкопаем ещё. Старческие критерии переменят опять, – и стодится на эвтаназию, – пошутил Максим. – Ты вот лучше что: ты этому не ответил... про монстров.

Женя посмотрел в светло-синие глаза друга, всё ещё думая про закопанный клад, и почувствовал, как время ворочается у него в груди. Перед ним пронеслись облезлые стены интерната, металлические шарики на спинках кроватей, громадные и чуть тёплые порции каши. Он вдруг вспомнил, как Максим любил сидеть на кирпичной кромке балкона в десяти метрах над землёй и смотреть – точно поверх всего; ещё вспомнил, как они, полоснув бритвой по пальцу, кровью скрепили какую-то бумагу, а вот какую...

– Хочешь кофе?

– Больше нет.

Однако Женя подошёл к кофеварке, повернул её боком и нажал неприметную кнопку. Из боковой панели вырвался зелёный луч. Женя подставил под него ладонь, подождал несколько секунд, выключил. Достал из ящика вилку, положил её меж пальцами и согнул пополам, переложил и, по-прежнему одной рукой, скрутил в спираль. Получился маленький объёмный знак доллара. Женя бросил его на стол и глухо сказал:

- Я порву их, Макс.
- О-ля-ля! – Максим взял вилку: она была старинная, стальная.
- Через минуту я не справлюсь и с сушкой...
- Значит, вот как...

- Грасиа...
- Лопес, – взвыли трибуны.
- ...Испания, тестолактон плюс триметазидин!
- Кристоф Оген, Норвегия, салметерол.

Тихий ропот, переходящий в смех. Словно счастье было звуковой субстанцией, смеховая волна трижды, спускаясь по спирали, обогнула чашу и озарила каждое лицо. Журналист поднял бинокль и нашёл Сентябрёва. Тот сидел на скамеечке, вытянув ноги и безучастно глядя куда-то в верхние ряды... или ещё выше. Покуда он не встраивался в репортаж.

– ...Ведь что делают все эти вещества и методы? Увеличивают либо амплитуду мышечной работы, либо частоту, либо импульс.

– Или всё вместе.

– Ну да. Но раз это можно извлечь из организма, значит, потенциально это всё в нём имеется, и самая тренированная, развитая мышца часть энергии от нас припрятывает. Чтобы добраться до этой энергии, нужно преодолеть болевой порог. Болью управляют нервы; собственно, всей мышечной работой управляют нервы. Зачем же искать обходных путей, когда можно непосредственно воздействовать на самые прямые – нервные пути! Речь ведь идёт о трёх-пяти процентах, которых недостаёт высшему мастеру, чтоб стать чемпионом, – довольно организовать прямой приказ мышцам, чтобы выдавить из них эти проценты.

– То есть – вроде мышечного гипноза... Но ведь под гипнозом человеку кто-то приказывает, потому он и делает то, на что обычно не способен. А если ты парализуешь нервы...

– Кто мне прикажет, если не будет обратной связи? Там, кто-то другой, во мне. Если хочешь, сверх-я.

– Ради того, чтоб стать чемпионом? – Максим смотрел в упор, ясно, почти яростно, только голос его был печален и тих.

– Их, нужно остановить, Макс, – Женя выдержал этот взгляд и ответил так же твёрдо и быстро, как до этого журналисту. – Если не сделать этого сейчас, на этом экспериментальном чемпионате, то они хлынут в спорт, и всё вернётся...

– К тем временам, когда в футбол играли одним мячом и умирали от гриппа, да-да. Ну, а если и хлынут, ведь здоровье теперь – такая условность...

– Дело не в здоровье. Неважно, какое у андроидов здоровье. А всё к этому идёт – насколько можно предсказать. А насколько нельзя? Поэтому мы... мне... в общем, я хочу остановить...

– Лавину?

– Пока она только пороша.

– Таким способом? Но ведь читтеры давно попробовали все лазейки и изгнаны. Или ты побежишь с кофеваркой?

– Макс, это просто пробник, – но Сентябрёв не засмеялся вместе с ним. – Анализатор реакций. Настоящий излучатель тоже здесь, но ты его никогда не найдёшь. Даже не догада-

ешься. Я, конечно, только чуть нахватался верхов. Смысл, приблизительно, в том, чтобы заморозить сигнал, и включить его только в нужный момент. Там, внутри, правда, происходит какой-то парадокс, но этого я тебе совсем не сумею объяснить...

– Дио Белетти, Ватикан, этиламфетамин!

Всеобщий восторг. Диктор, конечно, сокращал каждое досье и отточенным до игольного острия голосом наносил неотразимый укол. Бегуны замёрзли бы ждать старта, начни он перечислять методы и манипуляции, фармакологические программы и дозы. Журналист такую лаконичность себе позволить не мог, но и проявлять чрезмерную компьютерную компетентность было нельзя. Так легко поставить себя под удар специалистов и наскучить публике. Ему нужны были резкие, пусть даже противоречивые, обобщения.

– Евгений Евгеньев, Россия, clean!

«Почему Клин, – подумал Женя, – я же тульский? А-аа...»

Пока они бежали кучно, Максим сделал ещё попытку, почувствовав, как локти плотно, почти без провала, опираются о воздух. За ним немножко попрыгали, потом сектор закрыли. Он лёг на скамейку, натянул на себя одеяло и стабилизировал пульс. Женю из этой позы он, не поворачивая головы, видел только на вираже. Тот лидировал, с удивительной точностью появляясь на пятьдесят первом ударе Сентябрьского сердца.

Первые круги двести шагов в минуту дались легко, будто он всегда так и бегал. Собственно, почти: визуально прибавка не читалась, разглядеть её мог только профи. Вскоре, однако, темп стал невыносим, а цифры на табло поползли вниз: 62, 63, 64. Тогда он выпустил первого джинна: сконцентрировался и произнёс про себя затверженную формулу. Тотчас какая-то его часть исчезла, только железный метроном должен был до конца дистанции неколебимо отбивать ритм. Круги встали на шестидесяти. На экране он увидел отрыв: то ли ему не поверили, то ли вся фармэлита рассчитывала не на скорость, а лишь на ускорение. Он понимал, что на финишном даже километре ему неоткуда будет достать вровень тому, что предьявят они. Значит, надо было доставать по частям. И на середине, когда стал проседать толчок, Женя позвал второго джинна – тот вылетел из неокортекса, в самом деле, как из бутылки. Ощущение, быстро миновавшее стопу, прожурчавшее по голени и укрепившееся в коленях, было сродни онемению, но гораздо приятнее: будто ткани наполнились каким-то упругим и пузырящимся веществом.

Журналист, отсчитывающий каждый его шаг, уронил бинокль. Двухметровые скачки, какое-то время именно скачками и выглядевшие, превратились в пласирующий полёт над гранатовой дорожкой. Можно было подумать, что это не стайер, а барьерист подбирается к очередному препятствию... «Двести на двести – формула невероятного!» – одним взглядом вбил он в планшет.

Женя запер кофеварку в шкафчик. Под вечер народ стал подтягиваться в трейлер – кто на процедуры, кто на массаж. Он заглянул в спальный отсек: не хотелось в ночь перед стартом оставаться совсем одному, а большинство спортсменов предпочитали гостиничный комфорт. Всё же две сумки валялись на кроватях, обещаая ночное соседство. Из релакс-кабины доносились мутная музыка, которой подпевал голосок. Эта девушка накануне проиграла высоту; и Женя попытался вообразить, мог ли бы так же мурлыкать после пятого места. Мысль была ошпаривающая.

Противовесом он передумал весь разговор с журналистом и остался доволен. И эта импровизация с Максом – тоже вышла удачной. Тот, конечно, качнул что-то там – в пресловутой глубине души, куда не стоило слишком часто заглядывать, – и сделал это поразительно

легко, с полувзгляда, с полуфразы. Да нет, он сам поддался, оболыщённый памятью. Зато можно гордиться тем, что обнаружилось в этих-то глубинах: спокойствие, чуть ироничное, а чуть и пафосное, спокойствие правоты, которую, что он ни говори, не постигнут ни доверчивый Макс, ни пронизательный журналист... да ведь и он, будущий чемпион Евгеньев, предпочитает не подыскивать настоящих слов для своей правоты, а просто – воплощать её.

Теперь трибуны ревели по-настоящему – как если б на них рассадили сто тысяч динозавров. Или как, должно быть, ревели в древности, в ожидании крови гладиаторов. Журналист огляделся – сзади, сбоку одинаковые безумные лица, жадные глаза, разъятые рты. Ему вдруг стало страшно. Страх этот легко было превратить в резкий, выразительный текст, но чутьё остановило его.

«Не перегибайте шлагбаум! – итожил свои выступления завред. – Держите границу. Обостряйте социальное, но не лезьте в политику».

Границу! Журналист зло пошевелил усами. Он-то прекрасно знал, что никакой грани, на самом деле, нет. Всё в этом мире перемешано, взаимосвязано – и всё притворяется не собой. Даже тот же завред. Вроде бы передовик трансформизма, а в то же время закоренелый thumb, овец, что читать, что писать – всё наяривает большим пальцем, телелистинг толком не освоил.

Сам журналист многим штучкам был обучен, не только профанам, а и спецам недоступным; но постоянно нужно было прогнозировать, как воспримут читатели, эта ревушая толпа, удастся ли ему, взвинтив, одновременно прижать их душевные струны. Приходилось смотреть на себя миллионами глаз. И иногда нервы не выдерживали...

Бёдра больше не справлялись с той работой, в которую их послал остальной организм. Убитая боль, оказывается, всё же существовала. Мышцы напоминали сохнущую резину. По капле, по миллиметру их растяжение сокращалось. Он снова потерял несколько секунд. Результат всё равно выходил фантастическим, но вопрос был уже не в результате. Ближайшая группа разорвалась, один бегун выскочил из неё, переложился двумя рывками и прилип. Кто это был, Женя не знал: он чувствовал себя пушечным ядром, пущенным кем-то лететь вокруг Земли. Все органы восприятия были вмяты внутрь, ему нечем было посмотреть на экран, и только кровавые цифры секунд и минут выхватывало с табло периферийное зрение. Впереди появился круговой, дальше ещё один, – он обошёл их, с многотонным скрежетом некоего руля уйдя, а потом вернувшись на траекторию.

Оставалось четыре круга. Рано, но тот, за плечом, наседал.

Что сделал третий джинн, он ощутил не сразу. Боль вроде бы оставалась. Только теперь не нужно было заставлять ноги тянуться к пределам длины, – они двигались автоматически, перенося на себе, как постороннюю вещь, коллективное существо боли, словно сонм вцепившихся в мышцы муравьёв. Чувства раздвоились: один Женя – упругая, когерентная электрическая волна – мчался по стадиону, другой же, осмысляющий и страдающий, обволакивал его; они силились и не могли слиться.

Он не видел, а дополнительная тяжесть возникла в спине: преследователей было уже двое. Похоже, они боролись между собой, заранее присмотрев, когда и как будут обходить лидера. Он до финиша обеспечил себя ровным бегом, какого не случалось в истории, но этого оказывалось мало перед их спуртом. Нервы выполнили программу – теперь нужно было черпать из души.

В какую-то секунду ему почудилось, что тот, внутренний Женя, выпрыгивает из него. Он выдохнул хрип, рычание, рёв, – стадион онемел, как аквариум. Последний вираж и прямая: с ним поравнялись; тогда живой человек сделал какое-то немислимое усилие и, переломив спичкой боль, настиг свою электронную копию.

Он успел зафиксировать слияние и даже понять, чем оно было: всемогуществом. Он мог всё, он был способен двигаться свободно, как свет, – только в тот исчезающе малый миг, вслед за которым начали рваться мышцы и сосуды...

Бегуны финишировали друг за другом, и сектор открыли. Максим видел, что Женя лидировал, его доставали, а потом всё как-то смешалось. Кто победил, он не понял, видел только, как к упавшим бежали волонтеры, тренеры и люди с крестом на спине. Сигналя, выехал маленький белый электромобиль. Всё это происходило точно за стеклом. Наступила его очередь.

Идя на разбег, Максим вдруг подумал о Жениной кофеварке. Ещё ему представилось, как тот за час до старта, допустим, засовывает голову в стиральную машину, где спрятан облучатель. Он грустно улыбнулся, встряхнул косичкой, нащупал в ложбинке между затылком и шеей бугорок, под которым билась заветная жилка, сильно нажал на неё, разбежался и взлетел.

Внизу проплывали деления – семь метров, восемь, восемь пятьдесят. Вдруг Максиму стало непонятно кого жалко – не соперников, а вообще: эту землю, от которой он оторвался, этих людей, которых он покорял. Экстрасистола сомнения стукнула в его сердце. Но он хорошо знал: год-два – и левитанты заполонят сектор. Своё надо было брать сейчас. Он пролетел ещё полметра и мягко опустился на песок.

Инопланетянин

Прошли тысячи и тысячи лет, и первый *досмотр* затерялся в них, как первый сорвавшийся на золотом исходе лета берёзовый лист теряется в вихрях памяти. Факты превращаются в легенды, преданья – в мифы; и за всяким кажущимся первоначальным опытом всё уплотняющимися, словно в зеркальном ряду, отражениями теснятся те, что были до него – раньше, раньше, раньше... Только одно: что золотое безмятежное лето Горгонии некогда расцвело – и кончилось.

Никто, а особенно стражи закона, толком не знал, в чём же смысл *досмотра*. Ведь за все эти тысячелетия не было ни единого случая, даже намёка или ошибки. «Так заповедано», – объясняли доверчивым. «Космос непредсказуем», – убеждали скептиков. «Что гласят книги», – внушали трансцендентальным фаталистам.

Книги, неизвестно когда и кем сочинённые, ибо в эпоху пожаров все они были уничтожены, а затем приблизительно восстановлены по отражённым от магнитной экстрасферы радиоволнам, может быть, документальный дневник прошлого, а может, собрание сказаний и апокрифов, – книги гласили разное, причём туманная их метафористика с трудом поддавалась интерпретации, так как переливчатая игра слов и смыслов упорно не укладывалась в параболические схемы новоязыческого стиля. Одни тексты указывали на некогда успешно отражённое Горгонией *вторжение*, которое, согласно теории экзоциклов, должно повториться. Другие сообщали о некоем *князе*, обменявшем свою власть на бессмертие. Он изгнан отовсюду, поскольку всякое пребывание означало бы для него власть над мгновением и местом, однако столь изошрён в своих попытках проникнуть в бытие, что минувшие тысячелетия укрепляли и укрепляли бастионы бдительности. Наиболее, пожалуй, экзотическая версия утверждала, что сами горгоняне происходят от инопланетян, в предыстории разделившихся на два враждующих клана. Проигравшие решающую битву бежали (отсюда наша склонность к мрачным суицидальным настроениям, виктимности, иррациональному, отсюда наши фобии и пифии), однако победители не успокоятся, пока не отыщут и не уничтожат беглецов.

Как бы то ни было, всякий прибывающий на Горгонию гуманоид обязан был пройти *досмотр*. Прибывший так и именовался – гуманоид, хотя, разумеется, не мог быть никем иным, как обычным горгонянином, возвращающимся из орбитальной командировки или кометного трейвела, или же из квест-экспедиции по малым планетам, щедрой дланью гравитации рассыпанным в закоулках Горгоновой системы. Тест на состав газов в крови занимал несколько минут, чуть больше – бактерицидная и радиационная обработка. Но проверка, не скрывается ли под лояльным обликом коварный инопланетянин, длилась часами. В сезон отпусков, когда даже научные корабли фрахтовали под коммерческие рейсы, таможня не справлялась с наплывом туристов, и тогда галактические спирали очередей в зале прибытия растягивались на несколько дней. Это вызывало вспышки депрессии, и всякий рабочий год начинался с эпидемии самоубийств.

Ни возбуждённая толпа, ни истерическая атмосфера, ни автоматизация, – ничто не могло убыстрить досмотровый ритм. Нужно было взять две дюжины анализов, просветить каждую клетку, спровоцировать и экспонировать ряд реакций. Новый сканер, химический робот, автоматический анализатор, – любой из этих технических монстров с миллиардным быстродействием, на самом деле, замедлял процесс, так как выявлял новые глубины, куда могла бы проникнуть инопланетная агрессия, а финальная проверка результатов оставалась прерогативой человеческих существ, как и возвращение гуманоиду светлого звания горгонянина. Помимо миллионов и миллионов погубленных часов, не говоря о жизнях (тут, правда, бытовала теория об эволюционном тесте на стрессоустойчивость), расходы на *досмотр* непрерывно возрастали, отъедая немалый кусок валового дохода Горгонии. Но никто не роптал; вернее, роптали

все – и несчастные путешественники, и злые, измученные досмотрщики, и левые журналисты, упрекавшие консервативное правительство (это распределение ролей было установлено раз и навсегда) в консерватизме, и даже утилизаторы, не знавшие, куда сбывать склянки из-под анализов. Роптали – даже шёпотом не покушаясь на заведённый порядок.

Всё дело в том, что про инопланетян, из-за их отсутствия, не было ничего известно, разве всё из тех же восстановленных текстов. Они могли принять обличье честного горгонянина или внедриться, в виде ничтожного вируса, в его организм, или принять трансцендентную форму и осуществить духовное проникновение, а могли изыскать способ, даже не приходивший в горгонские головы, – и потому несколько институтов были заняты выяснением потенциальных угроз и разработкой контрмер.

Все связанные с *досмотром* работы считались престижными и отлично оплачивались, что обеспечивало рьяность досмотровых служащих в самых рутинных процедурах. Никто, конечно, давным-давно не думал о том, чтобы обнаружить инопланетянина. Важно было безукоризненно точно, абсолютно бездушно, но с известным щегольством, как каблук щёлкает о каблук, выполнить инструкцию.

...Но однажды детектор пискнул.

В первые минуты, после тысячелетий молчания, никто не понял, что произошло. То ли мышь, то ли малышня свистулька. Потом сбежались.

Космопорт был оцеплен; все, находившиеся в здании и около, включая самих сотрудников *досмотра*, включая высшее таможенное начальство, примчавшееся на городских легколётах, включая пилотов этих легколётов, включая первую, временную, линию оцепления и, на всякий случай, включая работников, связанных с космопортом какими-либо кабельными или трубными (вплоть до канализационных) коммуникациями, – в общем, все были заключены под строжайший двухнедельный карантин. Дальнейшее осуществляли андрюиды, под дистанционным присмотром не попавших на карантин высших досмотрщиков.

Источник тревоги был помещён в стеклянную бронеканнеру, откуда, благодаря системе очистки, не только ни один атом, а, кажется, и ни одно нейтрино не могло выскользнуть. Это был рослый блондин, помощник штурмана рейсового круизера, по имени Инь. Со спокойным удивлением отнёсся он к обстоятельствам своего пленения, не выказав никакого недовольства, ибо и по должности, и по убеждениям являлся твёрдым сторонником самой жёсткой профилактики инопланетной заразы. Что с ним именно произошло и когда, объяснить он, конечно, не мог.

Собственно, как и никто. Тщательное психологическое сканирование не выявило никаких отклонений. Интеллектуальный тест не показал ничего, кроме лёгкой профессиональной редукции. Метаболизм оставался в норме, сомнологам заняться было нечем. Тем не менее, особый контроллер, компарирующий сотни параметров, поставляемых другими приборами, вычисляющий их корреляции и устанавливающий пределы девиаций, упрямо утверждал, что перед ним гуманоид, содержащий некую инопланетную сущность. В чём именно она выражалась – это было вне компетенции контроллера, он только определял. Не могли ничего прояснить и разработчики: они создали самонастраивающуюся систему, к тому же с использованием биоматериалов, а безупречность сложнейшего математического аппарата, исследующего пределы и корреляции, была доказана целой компьютерной констелляцией. Контроллер был создан как раз в качестве последнего трансцендентного барьера, – и его результаты нельзя было не только оспорить – их нельзя было даже умозрительно постичь. Оставалось принять факт.

Карантин скоро закончился, не выявив больше ни одного инопланетянина; скандально-героическая звезда Иня временно закатилась; а *досмотр* оброс новыми технологиями и стал длиться ещё дольше. Но год спустя левые журналисты, проникнув (разумеется, не сами, а посредством бактериальных зондов) к стенам бронеканнеры, обнаружили ту же картину: растолстевший Инь бродил по своей стеклянной гробнице, изредка общаясь по видеосвязи с род-

ственниками, ещё реже беря в руки электронный мультиплекс, а в основном, перемещаясь с кресла на диван, от футбольных матчей к репортажам с *Затейливых горгонид*, пояса малых планет, где спешно подготавливалась база на случай отступления цивилизации с родной планеты. Зонды следили за Инем и снимали его так называемую жизнь в течение двух дней, – эти кадры попали в мировую сеть и взорвали общество.

«Как, – вопили одни информеры, – он до сих пор не утилизирован, не конвертирован, инопланетность существует бок о бок с нами!»

«Как, – неистовствовали другие, – невинный горговец, чья инопланетность является, может быть, компьютерным артефактом, томится в неволе, деградируя на наших глазах, а мы молчим!»

Третьи же просто обвиняли власти в неспособности принять решение, какое бы то ни было, что свидетельствовало об их неготовности к грядущим переменам. Что эти перемены вот-вот последуют – как-то быстро стало всеобщим мнением.

Общество раскололось на партии и блоки, захватывающие новые и новые слои, оставляя всё меньше равнодушных. На правительственных заседаниях и городских углах, в информерах и подворотнях, комики и биологи, грузчики и космонавты, – все и всюду только и говорили что о принципах гуманизма, непримиримости, правах человека, правах общества лишать человека всяких прав, традициях, отщепенчестве, верификации и перерождении. Появилась целая каста перерожденцев. Её стали преследовать – это было ошибкой. Вспыхнули протесты, местами переросшие в бунты. С этого момента события понеслись головокружительно, хаотично и непредсказуемо.

Несколько месяцев спустя изгнание радикалов завершилось захватом ими *Затейливых Горгонид*, откуда вскоре они и нанесли решающий удар по расшатанной, измождённой, беспомощной структуре своей планеты. Началась Великая война за справедливость, причём теоретики семнадцати основных противоборствующих концепций справедливости трудились денно и ночью, совершенствуя свои идеи, в которых, как указывали летописцы, пока химические пожары не добрались до их трудов, оставалось всё меньше старого доброго горгонианства.

В этой кровавой суматохе её невольный виновник таинственным образом исчез. Или всё-таки он был конвертирован, или же ему удалось бежать. Больше на исторической сцене Инь не появлялся, но десятки лже-Иней на протяжении, по меньшей мере, трёх горгонианских жизней возглавляли самые разнообразные движения и секты. А раньше Горгония и не опомнилась.

Когда же опомнилась, затушила пожары, собрала бушующие радиоволны и восстановила, как уж удалось, тексты, то это были другие существа, с иной, прежде не существовавшей, логикой и иной этикой. И прошли тысячи и тысячи лет, факты превратились в легенды, предания в мифы, а мифы в религию, символ веры которой гласит о циклическом пророчестве, обязательно сбывающемся, но каждый раз – новым, чудовищным, непредставимым образом. Те, кто населяют Горгонию, считают себя потомками бога Иня, некогда спасшего их из космической темницы. Но где-то, думают они, должны существовать и истинные горгониане, которые однажды явятся, дабы – быть.

Без вести пришедший

Я родился на необитаемом острове. Судя по зарубкам на базальтовом бревне, мать зачала меня в ту самую ночь, когда шторм оглушил корабль, рифы взрезали его чрево, а океан, насытившись, унёс останки неведомо куда. На берегу оказались только – моя будущая мать и сундук.

Никаких иных следов бытия, ни поисков, ни признаков памяти.

Она – возможно, на что-то надеялась, ждала, не ведая, что находится, относительно любой географической точки, на *обратной стороне земли*. Я же – будто выпал в этот мир ниоткуда. Ни один человек, ни одно существо во Вселенной не ведало о моём рождении, о том, что я есмь. Мать? – она скоро умерла. Я толком не понял, что остался один. Я – стал один.

Остров был невелик. Даже в детстве я за день обходил его целиком. Песок да камни. Но песок выучил меня письму и чтению, камни – счёту. В сумрачной чаще росли три заветные деревья, кормившие меня круглый год. Остроконечная скала почти достигала верхушки леса. Помню день, когда, взобравшись на неё и встав на цыпочки, я, наконец, увидел разом все стороны света. Остров подо мною покачивался и дрожал, словно шаткий пьедестал. Только через месяц, когда дрожь повторилась, я понял, что это и вправду судороги земли, а не сердца. Дымка не позволяла увидеть линии горизонта, и пространство вовсюду просто исчезало, растворялось в бесконечности. Эта пустая бесконечность была моим единственным домом. Поверить, что в мире существует ещё что-то, меня заставили только звёзды; но потом долго, много лет, я не поднимался на скалу.

Под нею было озеро с пресной водою. Обычно вода была очень холодна, но порой, и всегда неожиданно, зачерпывая её большою раковиной, я едва не обжигался. Тогда, набросав в озеро собранных в песчаных лужицах после прилива рыб, я добавлял лакомство к своим трём деревьям. Холода я не испытывал никогда; хищников и змей здесь не было, только однажды большой жук ужалил меня в горло. Дожди, редкие и обильные, хоть и не причиняли телу вреда, по какому-то ненужному инстинкту я пережидал в пещерке, некогда вымытой прибором на берегу. Оттуда я наблюдал, как вода стирает выцарапанные мною песчаные буквы. Но они не исчезали совсем, они тонкими коричневыми ручейками вливались в мою память. Это была моя главная, моя единственная память – сохранять в уме взаимное расположение знаков.

Вероятно, отсутствие внешних впечатлений, однообразие явлений и красок не дали развития памяти образной, предметной. Я понял это, когда забыл лицо матери. Вслед за тем я забыл её руки и её голос. Потом от неё остался один непреложный смысл – что ведь она родила меня.

Она не просто умерла – она исчезла. Возможно, её труп смыл прилив с плоского камня, откуда я впоследствии выслеживал больших сиреневых крабов. Скорее всего, она и научила меня такой охоте, но этого я тоже не помню.

Будь это хоть месяцем ранее, я бы превратился в обезьяну. Их золотисто-серые стайки, крича без умолку, сновали вниз и вверх по деревьям, а на берег выходили осторожно и молча и подолгу стояли, удивлённо глядя на волны. Когда я выучился лазить почти так же ловко, в прокорме теперь не завися от ветра, – с какою тоской я был чужим в их игре, не умея ни свободно перелететь меж ветками, ни повиснуть на хвосте, ни, главное, втиснуться в какое-либо постоянство роли. Я знал все их жесты и намерения, но не мог отвечать им; и что ни сумерки – они куда-то взмывали, оставляя меня одного. Повторяю, месяц, может, два – и я бы не ощутил никаких границ. Но я уже обрёл слово: мать успела, научила меня быть человеком.

Палка и песок, острый камень – и толстый иссушенный ствол, – вот были мои два человеческих дела; а третье: язык – и? Что было называть, что описывать, к кому обращаться?

Единственная заповедь, оставленная мне матерью, – она высекла, выцарапала её на том самом валуне, с которого её слизнул, как мне некогда почудилось на рассвете, океан: говори!

И я говорил и говорил, словно заклинаниями упражняя в себе человека. По сто раз в день я произносил все слова, которые знал, и по тысяче – называл то, что видел вокруг. А когда же случился тот рассвет? Даже если он приснился мне в ту старшую пору, когда я чувствовал, как теряю остатки воспоминаний о матери, – этого нельзя понять, ибо сны мои всегда неотличимы от яви. В них так же бьётся прибой, кричат птицы, и обезьяны украдкой подбираются к моей голове.

И даже редкой тишины я не слышу: эти звуки с рождения впечатаны в мой мозг. Но в них постоянно пробивается ещё один звук: скрежет камня о металл. Может, потому я так быстро забыл материнский голос, что, едва стал один, взял камень и пошёл к сундуку. Нет, его она мне не завещала, или не веря в мои силы, или ожидая чуда. Она просто шла к нему и упрямо тёрла камнем толстые железные полосы, которыми был полностью обшит сундук, а иногда в отчаянии била по двум громадным, в две её ладони каждый, замкам. Что она надеялась найти? В таких сундуках возят меха, пересыпанные драгоценностями: повод к безумию. Инструменты – мы в них не нуждались. Или она думала, что там лежит маленький, тесно свёрнутый корабль?..

Вот – было моё главное человеческое дело. Я работал ежедневно, покуда в крошку не рассыпался камень. А наутро шёл добывать новый, определяя прочность на вес. Сама работа сперва затачивала камень, я продвигался на полосочку вглубь металла, но потом кромка надламывалась и кусочки отлетали от камня. Иногда – искры. Несколько раз я заводил себе огонь, безо всякой нужды, но отложил мысль о нём, как загадку. Я видел, что огонь за несколько вздохов уничтожает ветку, которая сотни дней лежала на песке, присмотренная мной для неведомой пользы. Мне казалось, что так же он способен поступить с сундуком.

Между тем, земля порой вздрагивала, сундук кренился, и ветер всё глубже врывал его в песок. Почему-то я не догадывался взять раковину и откопать его. Шла битва наперегонки.

Тогда-то я и узнал, что время – это не свет и тьма, не голод и не дрожь земли. Время – это сундук. Он торчал углом, и с одной стороны песок добрался почти до петель, когда я вдруг почувствовал себя сильнее его и несколькими яростными ударами выбил ему последний зуб. Ещё день ушёл на то, чтоб отодрать приржавевшую крышку. Я поднимал её всем, чем мог – руками, коленом, головой. Она перевернулась и, ударив меня в плечо, упала.

Там были книги. Тщательно упакованные, плотно уложенные, лишь с одного края, где была трещина, подмокшие – несколько сотен книг. Никто бы так не стал спасать судовую библиотеку. Вероятно, какой-то книгочей перевозил своё сокровище за море. И почти все они были написаны на единственном моём языке.

Говори превратилось в *читай*. В тот же день я впервые начал читать книгу – громким, необыкновенным голосом, распугивая птиц. Впрочем, вряд ли мать или кто-нибудь на земле понял бы меня. Моя детская даже правильная, но бессознательная речь, не могла сохранить своего изначального строя. Постепенно смещаясь к привычному для ушей – пронзительная обезьянья перебранка, гортанные выкрики толстоклювов да вечное шуршание мокрого песка, – звуки в моих устах приобрели, вероятно, диковинные и дикие свойства. Я догадывался об этом, потому что иногда мне мнились иные звуки. Чистые, лёгкие и ничем не напоминающие то, как осыпаются камни со скалы, когда дрожит земля. Но откуда они брались? Если снились, то этот сон возвращался ко мне – через часы или годы? – на закате, когда я убирал книгу, тщательно, уже посильневший, накрывая сундук сломанной крышкой. Если их вспоминало подсознание, то ухватить их мелодию можно было только во сне. Но это было неважно. Не имело значения, как я озвучивал слова, если верен был их смысл. А в этом я скоро убедился. Часть слов будто переселилась с песка на бумагу. Другим – достаточно было трёх-четырёх сопоставлений, чтобы

хоть в приблизительном значении утвердить их место. Были таинственные слова – их я запомнил отдельно. А потом обнаружил словарь.

Так все смыслы встали на свои места, и родилась страсть. Однажды мелкая обезьянка схватила оставленную мною без присмотра книгу и, выдирая листы, понеслась в лес. Я бросился следом и быстро догнал её. Она могла легко ускользнуть на дерево, но то ли пожалела добычу, то ли, незнакомая с опытом погони, обессилела от страха. Я схватил её и, чувствуя, как сам собой щерится мой рот и кровь приливает к глазам, ударил серое тело о дерево. В последний миг какой-то инстинкт смягчил удар, но она больше не двигалась. Убил её я или страх, – быть человеком оказалось неистовым, головокружительным желанием. Я завёл огонь и, зная вкус горячей еды, изжарил обезьянку. Ни мягкое дерево, ни пряное, ни сладкое, ни стебли и рыба не давали таких ощущений. С того дня я пристрастился к охоте и книгам. Станным образом тёплый и полный желудок влёл меня к охоте за словами. И я зачитывался до того, что дня не хватало и приходилось вновь пользоваться огнём.

Щёки мои стали колючи, я освободил сундук, выкопал его и с помощью рычага перетащил на недоступное для воды место. Там вновь заполнил его – по темам и сложности. Скоро оказалось, что я знаю и понимаю более того, что сулила мне новая книга. В библиотеке преобладали работы учёного содержания, но не только испещрённые формулами и понятиями, лежащими вне даже догадок моего ума, а и подводящие к этим высотам, в том числе книги очень подробные, иллюстрированные, притом почти обходящиеся моим ранним лексиконом. По ним-то, как по каменистому подъёму, разум мой стремительно взбегал.

Ничто не отвлекало меня, никакая жизнь. Может быть, какой-нибудь наследственный талант раздражался во мне бурей познания. Прыгая на следующую ступеньку, я предчувствовал тот общий смысл, каким наполнена очередная книга, – каким наполнит она меня. Я не просто запомнил всё – но тотчас пускал своё знание в опережающую работу, интуитивно формулируя вопросы и задачи, какие мне лишь предстояли. Видимо, моя удивительная память, сосредоточенная на абстракциях, не имела пределов.

Я пользовался памятью, как книгой со вставными белыми листами, куда можно было вписывать решения и предрешения. Но пустые оборотные листы или полустраницы попадались и в настоящих книгах. Недоставало чернил, – я легко придумал их из крабьей крови и перьев попугая. Конечно, белой бумаги всё равно было мало для записей ежедневных, тем более, что пальцы мои, привыкшие орудовать палкой, едва удерживали ничтожный размер букв. Но я и вписывал – только важнейшее. Нет, я не боялся что-то забыть или упустить силлогизм. Эти записи были – как идола в сравнении с обычаями и строем сознания подверженцев религии. Когда я прочёл об этом, о богах, я понял, что книги превосходят реальность. Я мог бы и себя вообразить обезьяним богом...

Однако логический инстинкт дал мне избежать всех соблазнов безумия. И моё знание заключалось вовсе не в том, чтобы, в свою очередь, превзойти книги. Я не поглощал их, а выслушивал, точно рачков. Ум мой, как в рисованном опыте, который мне нечем было проверить, располагал железные опилки слов по силовому узору истины. И записи мои были символами истины? – не только. Это был единственный способ когда-нибудь сообщить себя миру... если тот вправду существовал, если я, вследствие какой-то забытой ошибки, не был одиноким богом, в беспомощности создавшим сам для себя книжный сундук!..

Очень быстро, в неделю одолевая века человеческой мысли, я изучил математику и естественные науки. Ещё разбираясь в *началах*, я чувствовал, что концы скрыты в густом и горячем тумане, подобном тому, что окутывал скалу перед каждою дрожью. Разбирая задачи, я уже знал, что они не продолжены ни в чём – ни в формулах, ни в теории. Вероятно, кораблекрушение закинуло меня в срединную эпоху, когда наивные исчисления только угадывали образ бытия; хотя в иных книгах говорилось о совершенно другом времени, где бог и человек – были одно и то же, – и я-то догадывался об этом ещё ранее, чем перелистывал страницу.

Что же, оставалось решить никем не решённое, создать никем не созданное. Всё это каким-то образом уже было в моём уме, – оставалось лишь, подобрав точное выражение, перевести в состояние памяти. Так я превзошёл всё писаное знание, соединив науки – от биологии до механики – в единый компендиум. Обострившимся почерком разбрасывал я истину по книжным пустотам.

Философия несколько смутила меня. Если религия создавала свой мир из ничего, и не было разницы между брожением мысли по его лабиринтам и полным неведением, то любая философская конструкция или концепция заключала в себе действительное зерно, но только – в оболочке множества словесных слоёв. Они явно несли в себе смысл, но заключался он в тех людях, что его обнаружили, а их-то не существовало. Всякий новый сюжет создавал какую-то авторскую истину; и я долго не мог найти себе место среди них, не понимая, как их объединить – или как уничтожить. В конце концов, перемолов каждое зерно, я описал мир языком собственных понятий – и тут же потерял интерес к философии.

...Как и к беллетристике, занимавшей скромный уголок сундука. Художественные миры сплошь были заселены не смыслами, а самым невообразимым из не существующего на острове – людьми. Ни знание себя, ни знание вселенной ничуть не помогало мне вообразить, что есть кто-то, во всём подобный мне – и другой. От меня – в этих книгах были какие-то осколки, как от камня. Единственный способ поверить в людей был – уподобить их моим обезьянам. Собственно, я так и понял, что герои книг – это снабжённые знанием и разъединённые в кланы обезьяны. Но так же, как моя охота раздавила детскую тоску, несколько прочитанных мною новелл перевернули моё чувство к миру. Раньше, словно переняв у матери, я смутно грезил о чём-то, что способно явиться. Теперь – мир грозил явиться. Быть никем не знаемым – вот то, что охраняло меня от человеческого нашествия. И я отрывался от книг и оглашал берег кликом обезьяньей смерти.

Существовал, однако, ещё один способ быть слову, именем поэзия. С какой лёгкостью я разобрался в её конструкции – столь же невозможным было услышать звучание стихов. Звуки складывались в какой-то резкий и торопливый вой, подобный тому, что успевала порой издать наступившая обезьяна. Это вдогонку убедило меня, что одиночество совершенно исказило мою фоннику. Но мне страстно хотелось погрузиться ещё и в этот странный мир, где блуждали только тени истины и человека, где смысл и чувство, сталкиваясь, уничтожали друг друга, порождая – я понимал что, а только не имел этого в себе.

Тогда я воспользовался тем языком, десяток книг на котором были отложены про самый дальний запас. Словаря к ним не было, зато к одной из книг я нашёл перевод. Пользуясь им, как ключом, я в течение года расшифровал весь лексикон неведомого языка, из бумаги потратив – лишь поля двух этих книг. Но не решение математической задачи интересовало меня, а – гармония речи. Я так подбирал фонемы и долготы, чтобы изредка попадавшие там стихи можно было прочитывать, почти пропевать – опрокидывая их смысл, оставляя от него вибрацию... и когда голос мой тоже начинал вибрировать и срываться, я, наконец, научился этому ощущению; тогда возник мой первый плач – не от боли или тоски по отсутствующему, он родился внутри меня. С удивлением и даже страхом догадался я, что всё ещё – не весь человек.

Стихов было всё-таки мало, они опустились в память с лёгкостью птичьего пуха. Я подумал так, а когда понял, что – так думаю, это уже были тоже стихи, незаметно, без всякого желания или усилия, получается, сочинённые мной. Они просто втекали в мозг, рождаясь ниоткуда, из воздуха, из простого ощущения – что я есть. Сначала мне было странно, что с ними – нельзя дойти до ответов, до концепций. Гармония, которую я создавал, соединяя аналитическую лексику с идеальной фонетикой, имела здесь совершенно другое значение. Науки, что я изучал прежде, давали мне знание, поэзия – заставила искать совершенство.

Последующее время я потратил на него, на совершенство. Тысяча с лишним книг – они давали мне право судить о достижениях разума. Я стремился развить их – и объединить в абсолютном знании. Я хотел полного совершенства.

Гениальный математик и поэт, шахматист, создавший стратегию непобедимости и, не удовлетворённый, в поисках опровержения придумавший дюжину других шахмат, астроном, рассчитавший орбиты галактик, – я проник и в глубины логики, и в глубины семени, и в глубины земли... И геология потрясла меня. Я рассчитал ритм колебаний, я изучил признаки: катастрофа могла разразиться вскоре, в течение нескольких лет – наверняка. Магма толчками пробивалась наружу в окрестностях острова. Назревающий взрыв должен будет всё уничтожить.

Это не изменило моего жизненного ритма. Всё, что я творил, и раньше не относилось к людям. Моё знание целиком хранилось во мне, в памяти, и только некоторые вспомогательные расчёты и мысли были занесены в книжные пробелы. То, что кто-то достигнет меня – было крайней абстракцией сознания, такой же ненужной, чем иллюзия бога. Просыпающийся где-то поблизости вулкан убедил меня в этом.

Однажды, посреди дня, когда я изобретал силу, способную двигать всё, внезапная тишина ошеломила меня. Океан был недвижим, словно исчез. Неужели я уничтожил всех обезьян? Стоило мне спросить себя, как я вдруг не смог представить, зачем это делал. Воображаемый вкус их мяса показался мне не отличимым от вкуса песка. Я заглянул в сундук. Чахлая стопка новелл лежала в нечитанном уголке. Когда-то это должно было случиться – что я вычерпаю время. Удивительно, что я никак и никогда себе этого не представлял.

Безмолвие сделалось ещё глубже, потаённое. Оно словно напряглось – и лопнуло. Красные вспышки взметнулись в небо, тут же осыпав берег серой горячей дробью. Тогда я вспомнил о пузырьке. Бог ведь как это склянка оказалась меж книг; но я-то знал, как ею распорядиться. Я спрятался за сундук – его последний дар! – и принялся бешеным почерком записывать хронику своей жизни. В моём распоряжении было пять разномастных сбережённых листков, вовсе чистых, заранее примеренных к пузырьку, и – от силы два часа времени. Я не мог уже изложить ни одного своего открытия, ни одного шедевра, да они и не имели никакой цены перед фактом моей жизни, сейчас должной закончиться – и никому не известной. Поведать о ней – вот всё, что я хотел, – и умереть с единственной за все эти годы надеждой...

Раскалённые камни пробили крышку, один угодил мне в плечо, другой задел ухо. Дописал я или нет – нужно было запечатывать склянку.

...Я разбился на необитаемом острове. Судя по ранам, шишкам и ссадинам, меня изрядно потрепало в рифах, прежде чем выбросило на сушу. Да и остров под стать мне – весь какой-то покорёженный, наполовину обгорелый. Чёрт ли знает, куда шёл корабль и куда подевались его обломки. Что я там делал, тоже не помню, видно, сильно меня побило. При такой бороде и ногтях, – был я, должно быть, пленником.

По берегу раскиданы кости, кое-где целые скелеты, будто детские. Прожить бы можно, вон и птицы вьются над зеленью. Мне бы ружьё, лопату, нож, кремь! Но в опрокинутом сундуке – лишь книги. Отлив утаскивает их в океан. Я заглянул в одну, другую, третью – и ни черта не понял. Ещё и поля исписаны малиновыми чернилами. Нет сил их вытаскивать.

Как гудит голова! Хоть бы что-то полезное вынесло на берег. А вон – какая-то бутылочка плещется в волне. Надо бы доползти, добыть её. С чего я взял, что в ней – важное, может, даже спасительное? Не знаю, но сейчас эта бутылочка мне нужна больше ружья и лопаты. И я преодолеваю боль, подтягиваюсь на руках и ползу вслед за отливом.

Вспышка

Бетане маневрировали долго, тысячи и тысячи жизней, но в конце концов гаммцы залучили реперный квазар. Маленькая галактика вся оказалась в водородной воронке. Бетане спешно накачивали пылевые облака, пытаясь создать эшелоны защиты. Между тем гаммцы, пользуясь преимуществом масс, смещали траектории. Магнитные поля возрастали, вакуум пылал, кометы не возвращались.

Вопрос, форсировать столкновение или покинуть измерение, разрешился сам собой. Быстроходные гаммские пульсары перерезали горловину соседней спирали. Коммуникации были нарушены, материя на исходе, выхода не оставалось. Бета оказалась на грани окружения.

Смерть или жизнь означало: доблесть или позор. Доблесть была – задушить гаммцев в объятиях смерти. Только блуждающие трусы с периферии соглашались оставить на поругание измерение. Но большинство требовало: да не достанься же ты никому!

Со стороны Гаммы положение бетян казалось безнадёжным. Их полевые командиры, лавируя в диапазоне, проникали к самым границам системы. Нейтронные звёзды нависали на флангах. Миллиарды масс надвигались в лоб. В гаммском самомнении не был учтён лишь долгий опыт позиционного выжидания, когда на каждом обороте слабейшему мог грозить крах. Флотилия чёрных дыр медленно, крадучись подбиралась к гаммским тылам. В решающий миг они должны были поглотить огневую мощь.

И этот миг настал; но, натолкнувшись на заградительных карликов, невидимками барражировавших по грани измерений, дыры сами превратились в огонь. От этого первого взрыва сдетонировал вакуум. Вспышка поглотила цейхгаузы. Стремительная волна покатила внутрь самой себя. Успел ли кто-то ускользнуть из бытия, – жизнь уже не знала. Пространство напряглось, набухло и кроваво лопнуло.

...Поэт поднял голову и сдвинул вбок козырёк. Яростно стрекотали цикады, и нежно, едва ощутимо щёк его касались эльфида. Золотистая капелька мелькнула где-то в чёрной глубине. Он вздохнул полной грудью, с нажимом, и проговорил задумчивым баском своему спутнику: «Послушайте, ведь если звёзды зажигаются...».

II

Q

Шурочка уже полтора года работал в Учреждении и дорос до замначальника подотдела, а его всё называли Шурочкой, но он не обижался. А чего было обижаться? Кажется, его даже уважали, во всяком случае, с работой он справлялся, ловко пройдя раза три или четыре по краю ошибки, но ошибки избежав и вовремя указав неверный путь начальству. В остальном жизнь была и вовсе прекрасна. Он был молод и катастрофически здоров, как сообщили ему при последнем медосмотре. Просыпался рано и успевал до службы аккуратно, с тщанием, проделывать привычный курс упражнений и пробежать в экономном режиме по внутреннему серпантину, посмеиваясь над лысыми или седоватыми мужичками, которые, пыхтя и страдая, обгоняли его на поворотах. Зарядка так его взбадривала, что между душем и кофе (он пил один и тот же специально для сердца разработанный сорт класса супермедиум) Шурочка, бывало, повторно обнимал жену.

Жена же его была вообще каталожной красавицей, и когда он просто смотрел на неё, от счастья кружилась голова. А тут ещё она подарила сынулю. Сынуля был копия она, но в глазах его Шурочка с гордостью различал проблески того интеллектуального света, которым, когда он задумывался над трудной задачей, а потом вдруг спохватывался, озаряло его зеркало. Так что встал вопрос о расширении.

Шурочка взял вечернюю работу, вежливо посетил родителей – и вскоре уже въезжал в новый хауз. Снабжение в хаузе было полностью децентрализовано, а внутренний серпантин имел элементы мёртвой петли, про что Шурочка с опаской подумал, что не надо будет водить сынулю на этот участок.

При въезде возникла дилемма – кого приглашать на новоселье. Этикет требовал, но звать только свой подотдел – могло бы обидеть другие, а всех подряд – тут уж выходил перебор. А главное, как только стало известно о переезде, он смутно почувствовал в коллегам не то недоумение, не то недовольство... или даже непонятную зависть... да, зависть, напоминающую тёмную гущу ила под слоем чистой, прозрачной воды. Кого-то пропустить – выходило плохо; некоторые же могли и сами отказаться, а не хотелось взбаламучивать этот ил. Не у всех были такие родители или такая перспективная должность. И потом, как мешать коллег – с избранными?

Выход тактично подсказала жена, умница. Она предложила разделить новоселье надвое и коллег приглашать не персонально, а общим объявлением, но пустить их первым заходом, в черновой вариант, пока ещё не всё ввезено и расставлено. Пусть даже и весь отдел: часа два – и разойдутся. Шурочка так и объявил: фуршет, сидеть почти не на чем, символическая вечеринка, вид из окна плюс – тут его осенило – надо же отметить день космонавтики!

На день космонавтики откликнулись с особым энтузиазмом. Тема эта была особая, причём Учреждения касающаяся. Конечно, *космомольские значки* у них не носили, считалось несолидно, но лозунги про *мировой планетариат* кумачовели по стенам, и в лотерее добровольного займа, собирающей средства для марсианской экспедиции, участвовали охотно. Правда, злые языки поговаривали, что эти средства собирают уже лет пятьсот, и давно можно было бы слетать на Альдебаран, да выиграть-то – и отправиться в орбитальный оздоровительный полёт – всё равно мечтали. Так что манкировать таким праздником было нельзя.

Получилось весело, неформально и стремительно. Сынуля отсутствовал: кровать только заказали, объяснила жена. Шурочка проводил пальцем по дверным зазубринам и клял стро-

ителей, наслаждаясь своей скромностью. Фрукты и напитки были самые простые, из ближайшего супермаркета.

Настоящее новоселье справили через две недели. Тут всё было тщательно отобрано: продукты, программа, состав. Кроме ближайших родственников, среди приглашённых оказались: непосредственный начальник (он, единственный, присутствовал и в прошлый раз и столь быстрое изменение обстановки, понятно, должен был оценить), куратор, трое уже достигших серьёзного значения однокашников, редактор каталога, продолжающий протезировать жену Шурочки, и, конечно, Макс-Емельян.

Собственно, Макс-Емельян тоже был однокашником, позже перескочившим на другую орбиту. Он служил в загородном филиале того же Учреждения, в секретном отделе, и в город прилетал на такси, останавливаясь тогда где-то в кирпичных низовьях у брата. Ему удавалось естественно сочетать старинные очки и джинсы с модной голографической футболкой. То ли из-за этих очков в тонкой платиновой оправе, то ли из-за аккуратной бородки, придававшей его лицу ироническое выражение, он казался старше Шурочки, хотя они родились в один год и даже месяц. О его материальном положении нельзя было сделать никаких умозаключений.

Но не это мнимое старшинство и не таинственный характер его жизни определяли Шурочкино – слегка снизу вверх – отношение к Макс-Емельяну. А что? – он и сам толком не знал. Было в том какое-то скрытое, возможно, обещанное могущество. Или будто бы знание каких-то вещей, о которых Шурочка только догадывался.

Макс-Емельян быстро, с едва уловимой улыбкой, оглядел обстановку, подошёл к окну, прочертил взглядом нормаль к горизонту и промолвил что-то насчёт не всякой птицы, способной забраться в эти высоты. От другого – было бы лестно, но тут Шурочка почувствовал насмешку. Они подошли к виртувизору. Это была новейшая модель, ещё штучного производства, дополнительный подарок от родителей. Макс-Емельян снисходительно пощёлкал кнопками, и опять та же тень улыбки появилась на его лице. Тут можно было бы и обидеться, но Шурочка и вообще это плохо умел, и радости было куда больше, и – какой-то доверительный намёк чувствовался в этой снисходительности. Будто это всё, такое важное и приятное, было только игрушками, а настоящая жизнь состояла в чём-то ином, в чём-то кое-кому неизвестном, но мы-то знаем...

Впрочем, сынулей Макс-Емельян восхитился искренне, и облако убежало. Вообще, настал момент для сдержанных восхищений. Тосты шли по спирали, и, наконец, куратор встал и провозгласил:

– За хозяина!

Это было приятно, но не только тем, что оценивало его роль в обиходе. Был для Шурочки в этом слове подспудный смысл. Он чувствовал себя не просто продвинутым служащим, а, действительно, хозяином – и всех этих новых, красивых, замечательных вещей, и своей жизни, и того уголка мироздания, в который его поместила судьба. Здесь, в этом уголке, вся государственная промышленность работала для устройства его счастья. Это было его время, оценившее его деловые способности, образование, умственную хватку – и он ощущал себя сильным и независимым. По природной скромности он всё же скрывал это хозяйское чувство.

Обнаружив завистливый ил на дне подотдельской жизни, Шурочка был удивлён и огорчён. Сам он никому не завидовал – ни Макс-Емельяну, ни отцу, способному купить ещё не пущенный в серию виртувизор, ни куратору. Вообще, он был, скорее, склонен поделиться... ну, не то чтобы именно поделиться, а как-то распространить своё восприятие жизни, своё счастье. Однако распространялось плохо. В его кругу все были уже, словно невидимой рукой, расставлены по местам, точно соответствующим жизненным параметрам людей. Так везуче распорядиться своей судьбой, как это удалось Шурочке, многие, наверное, не умели. А за пределами круга существовали совсем другие люди, странные, опасные. К ним полагалось относиться с приязнью, – так и учил куратор, – ведь это они создавали все те вещи и удобства, без кото-

рых было непонятно, как жить; но приязнь была немислима, вроде как к волкам в зоопарке. Те так же ходили вдоль решётки неустанно и безучастно, и только изредка кидали на посетителя взгляд, в котором странно и страшно-вато сочетались равнодушие и ненависть. И когда Шурочка покидал свой новенький хроноскутер (новенький по определению, так как он был подписан на последнюю модель в серии и, как только та появлялась, получал её обменом, без доплаты), который эти другие волкоподобные люди тут же начинали заправлять, чистить и анализировать, а ещё много людей появлялось вокруг или двигалось мимо, – беспомощное и суетливое чувство торопило его побыстрее занять место в кресле управления. Нет, никто ни на пунктах обслуживания, ни возле супермаркетов, ни в том же зоопарке, куда скоро надо будет повести сынулю, ничего противоправного никогда не совершал и не говорил, – но они смотрели именно так, что казалось – можно ожидать чего угодно. Он понимал, что у них нет ни хауза, ни хроноскутера и вряд ли будет; только во взгляде светилась вовсе не зависть, а волчьё ненавидящее равнодушие.

Это обстоятельство иногда угнетало его. Когда Шурочка пытался думать, он приходил к одному и тому же быстрому выводу: есть хозяева жизни – а есть те, кто их хозяевами делают, – общественный закон. Но было неприятно всюду ожидать этого нацеленного взгляда, и он старался избегать подобных ситуаций. В общем-то, архитектура жизни это позволяла.

А ещё беспокоил тесть. Во всё время сватовства, да и после, они встречались исключительно редко, как-то полубоком и краями глаз. С рождением же сынули тот стал навещать, взахлёб играл с внуком, и какое-то блаженное страдание порой возникало на его обычно бесстрастном лице. На зятя он по-прежнему – посматривал; однако были моменты, когда Шурочка ловил один и тот же краткий, внимательный и странный взгляд. Тесть служил каким-то элитным психиатром, был вхож в любые покои и кабинеты и – может быть, поэтому – своего мнения никогда не высказывал. С одной стороны, это была высшая форма дисциплины, а с другой... всякое ведь можно было предположить за его характерным, прищуром собирающим морщинки на висках, молчанием. И вот эти взгляды... Нет-нет, в них не было недоверия или тем паче какого-нибудь осуждения; но он смотрел на Шурочку оценивающе, как на своего, возможно, будущего пациента. И под этой беглой оценкой Шурочке начинало казаться, что, в самом деле, в нём есть что-то иное, чего он сам про себя не знает, а тесть – видит.

Недели через две после новоселья его позвали в Кадры. Шурочка щёлкнул было клавишей связи, но оказалось, что надо явиться воочию. Он переместился, однако невзрачная девушка за зарешёченным окошком (интерьер ставил историолог) скучным голосом произнесла: «Минуточку!» Шурочка пристроился рядом и с любопытством стал наблюдать за её работой.

На него иногда накатывало такое впечатление. Действительное содержание тогда исчезало, а оставался только процесс. Так, его собственная работа состояла в передвижении рычажков. На самом деле, конечно, перемещались смыслы, – и в могуществе управления ими он неизмеримо превосходил, например, старинных органистов, с их десятком регистров и сотнею клавиш: эта музыка вводила подотдел в ежеутренний рабочий транс. Но иногда смыслы исчезали, вернее, уходили в бесконечность: становясь неосвязаемыми, они где-то далее, вне его воли, порождали иные столь же неосязаемые смыслы, порождающие, в свою очередь, следующие; и тогда он видел только оболочку, будто со стороны. И сейчас эта кадровичка была – точь-в-точь как он: человек, часами перемещающий по трёхмерному пульту рычажки – туда-сюда, туда-сюда...

«Так, – сказала девушка, глядя в пространство перед собой и отвечая сама себе, – вы у нас когда поступили? В мае. Значит, позапрошлогоднюю пропустили? Да. Теперь нужно что? Допустим, на одиннадцать. То есть завтра к одиннадцати на Центральную площадь, кабинет две тысячи пятьсот один. Сделаете *q*», – она произнесла это средне, не *у* и не *ю*: *кью*.

Шурочка совершенно не понял, что он пропустил (хотя на всякий случай кивнул) и соответственно – что нужно сделать. «Прививку?», – переспросил он наугад.

«q! – девушка подняла на него возмущённый взгляд. – Фильм знаете?» – она похлопала себя по щекам, развела руки в стороны и как будто присела вместе со стулом. Может, в стул была встроена специальная пружинка.

Старинный этот доквантографический фильм Шурочка, конечно, знал, – тот входил в обязательный образовательный реестр. Курс «Принципы гуманизма против агрессивных вторжений» особо запомнился ему неудачно заданным вопросом, на целый месяц переместившим его во вторую группу претендентов на Красный бал (распахивались ворота, и Центральная площадь заполнялась лучшими удачниками учёбы). Он спросил тогда, бывают ли неагрессивные вторжения. Последовал ответ, что, вместо того, чтоб заниматься тавтологией, следует со всем тщанием дифференцировать и картографировать виды именно агрессивных вторжений, коих насчитывается не один десяток, в том числе (тут лектор грозно провёл пальцем над Шурочкиной головой) провоцирующие перерожденческое мышление. Отстаивание или опровержение какой именно гуманистической идеи иллюстрировал фильм, он бы уже вряд ли вспомнил, – не случайно курс погружал в такие диалектические глубины, в сравнении с которыми квантовая математика казалась лёгкой прогулкой. Но смысл жеста был понятен.

«Две тысячи пятьсот один, – повторила кадровичка и протянула пластиковый талон. – Возьмите предписание».

Шурочка глянул на талон и вздрогнул. Это было предписание крайнего государственного образца, не нарушаемое. В надежде что-нибудь распознать он проник к начальнику, протянул талон и сообщил, что завтра с утра будет отсутствовать.

«Ах, да-да, – рассеянно сказал начальник. – Вам ведь уже пора. Сделаете Q (он произнёс это пожёстче, по-мужски и явственно с большой буквы), потом заскочите в минимистерство, и после обеда – жду».

«Я ведь толком не осведомлён», – промямлил Шурочка, сознавая, что смысл у фразы – резкий, почти вызывающий.

Начальник поднял на него глаза, как только что в Кадрах, но произнёс тем же небрежным тоном: «Особо не афишируется. Нечто вроде присяги, в два года раз. У новичков бывают сомнения... но это ничего. Сделаете – и покрепчает».

От этих слов Шурочке уже покрепчало, но, вернувшись к себе, он обнаружил, что ничего не понимает. А фраза про сомнения вообще вызывала какой-то трепет. Ясно было только, что завтра в кабинете две тысячи пятьсот первом его ждёт какой-то барьер, но барьер этот он принесёт с собой, вот в чём дело.

Промучившись полдня, Шурочка, под неодобрительный шепоток коллег, окружил себя полупрозрачным экраном и набрал Макса-Емельяна. Услышать снисходительный отцовский совет он не хотел, а здесь – вроде бы было вровень.

Макс-Емельян отозвался сразу, хотя место, откуда он вышел на связь, менее всего напоминало кабинет. Длинные лианы наподобие штор свисали за его спиной, на них покачивались маленькие яркие птички, и доносилось журчание воды. Макс-Емельян в полихроматических очках разглядывал что-то, чего Шурочка не мог ни определить, ни увидеть.

«Слушай, ты делал это... Q?» – выпалил Шурочка, и звук вышел неловко, лающе.

«Ну, делал», – Макс-Емельян послал улыбку чему-то невидимому и переключился на разговор.

Шурочка почему-то и не сомневался.

«И что это такое?» – спросил он неопределённо.

«Символ веры, больше ничего. Впрочем, если тебя интересует генеалогия... Ну, фильм ты знаешь, оттуда сделали просто удачное заимствование. Само слово („это слово?“ – удивился Шурочка) ... да... видимо, происходит от искажённой английской *очередь*. Но не в этом дело...

Помнишь, мы по политанатомии изучали псевдодемократии с их якобы избирательной системой?»

«Помню. Детальный анализ показывает, что политическая реальность в таких системах, с ярко выраженным квазиинтенсивным характером экономики, является одной из высасывающих мистических оболочек, истинное назначение которой состоит в разрушении конечного продукта человеческой деятельности и, то есть, в экстенсификации труда и замедлении саморазрушительного прогресса», – отчеканил Шурочка.

«Верно! – восхитился Макс-Емельян. (Шурочка с каким-то двойным чувством подумал, что на Красный бал тот не попал, не хватило полбалла, а вот в секретный отдел...) – Так вот. После того, как удалось достичь истинной интенсивности экономики и остановить тотальный прогресс, возник вопрос, как быть с политикой. Она чудовищно обременительна, но как инструмент саморегуляции – необходима. Тогда и появилось Q. То есть вместо всех этих фальшивок, о которых уже мало кто помнит, – выборы, агитация, партийные списки, – человек приходит и проявляет лояльность – в самой условной и вместе с тем выразительной форме. Просто подтверждает свою преданность обществу.

«Всякий человек?»

«Ну... нет, только допущенные, только мы... кто на бюджете».

«А отказаться нельзя?» – зачем-то спросил Шурочка.

«Ты что, хочешь во внебюджетники?» – засмеялся Макс-Емельян.

Шурочка сейчас же понял, что люди на улицах и заправках, без хауза и хроноскутера, это и есть внебюджетники. Наверное, их много... там, дальше, где заканчиваются внешние серпантины. Видимо, у них свой символ веры, или они в нём не нуждаются. А он – нуждается?

«Но ведь это как-то... это же как-то, что ли, унижительно...»

«Конечно! – воскликнул Макс-Емельян. – Только вместо старинного вручения акции унижения некоему посреднику, чем сама акция-то превращалась в перманентный процесс, настоящий на обмане и самообмане, сейчас ты совершаешь одноразовое сознательное и сакральное самоунижение».

«А зачем это нужно... им, если они и так власть?» – спросил Шурочка упавшим голосом, кажется, впервые отчётливо вообразив всю ту слоистую толщу должностей и ролей, что плескалась над его головой, и шея его, будто под тяжестью этой мысли, слегка пригнулась.

«Им это не нужно. Это нужно государству. Они его воплощают. А государство – это все мы. Ты же уважаешь государство?»

Шурочка сглотнул и кивнул. По его тону он понял, что друг в эту минуту не один. Он дождался вопросительной улыбки и поинтересовался, как всё происходит технически.

«Да ничего особенного. Приходишь, – там будет Портрет, ну, или представитель Портрета. Веди себя сдержанно. Присел – шлёпнул, присел – шлёпнул. Одиннадцать раз».

«Почему одиннадцать?» – удивился Шурочка.

«Так одиннадцатый же срок!» – удивился и Макс-Емельян его недогадливости.

Они ещё обменялись фразами про хауз, про сынулю и разъединились.

Вопросов не оставалось, а вот сомнения – только усилились. Шурочка подумал поделиться ими с женой. Ни смысла, ни проку никакого в этом не было, так как ничего решать уже не приходилось. Но жена могла придать всему успокоительную окраску, нащупать точку зрения, самому Шурочке, возможно, недоступную.

Однако, когда он вернулся, сынулею занималась Умная комната, в принципе, способная без дополнительного контроля обеспечить хоть недельный, хоть месячный цикл развития, а жена уже надела шлем, и теперь из виртувизора её было не вытащить. Он автоматически поужинал и, поскольку забыл задать кухне программу, тем же самым и позавтракал. Бодрячки на внутреннем серпантине по-прежнему куда-то торопились, и Шурочка вдруг с уважением подумал, что иные из них не один, наверное, десяток раз делали... это самое Q – и ничего.

Хроноскутер без лишних контактов переместил его куда положено. Предписание само проложило ему путь по коридорам, высоким, звонким, выкрашенным в золотистый цвет, внушающий гордость и уверенность. Но на пороге кабинета сомнения вернулись. Почему-то его больше всего волновало – будет только Портрет или с представителем. Мысль, что он идёт делать сакральное самоунижение – она и была барьером, который он притащил с собой. Мысль периодически прилиwała к сердцу, горяча воображение. То он понимал, что всё пройдёт гладко. То решал, что нет, что непременно устроит какую-нибудь фронду, хотя и не знал, какую и как их устраивают. Только как фрондировать перед безмолвным портретом? С другой стороны, человек – человек может быть опасен...

Шурочка посмотрел на коричневые, изогнутые, словно стебли, цифры, попытался зачем-то сообразить, простое число две тысячи пятьсот один или нет, поднёс к двери талон, – и та распахнулась. На него с громадного, размером во всю стену Портрета глядел белоглазый, с жёлтой лысиной, сошедший прямо из эмпиреев государственный муж.

«Хорошо! – с внезапной яростью подумал Шурочка. – Я сделаю. Но я сделаю не одиннадцать раз!» Это было тонкое, в духе жены, решение. Портрет ведь не станет возражать. Это будет тоже жест – сакрального сопротивления, и всегда можно оправдаться, что сбился от волнения.

В ту же секунду в стене отворилась створка, и перед Портретом возник маловатый человек, пожалуй, немногим старше Шурочки и с какими-то чёрными клоунскими кудрями. Двубортный, тоже чёрный, пиджак так запахивал его грудь, что был виден лишь узелок галстука. Представитель ободряюще улыбнулся Шурочке, потом встал навытяжку и оловянно упёрся в потолок.

Дрогнула какая-то жила. Шурочка присел, дважды хлопнул себя по щекам, выпрямился и произнёс тонким петушиным голосом: «Q».

«За папу», – тут же кто-то прокомментировал у него в голове.

Он повторил приседание, дрожа от двойного ужаса – от того, что делает, и того мига, когда остановится.

«За маму», – голос был как у бабушек, мягкий, добрый, почти настоящий.

Он присел за жену, за сынулю, за хауз, за хроноскутер, за отпор агрессивным вторжениям, за куратора, за виртувизор, за учреждение. Где-то посередине, на шестом или седьмом разе пошло легко, даже с энтузиазмом. Но мысль, что сейчас, сейчас он что-нибудь учудит, билась в виске. Больше одиннадцати, – вдруг сообразил он. Больше! И какой недоказанный сарказм будет вложен в эту гиперболу!..

Но одиннадцатое Q он сделал за государство, после чего голова закружилась, ноги подкосились, и он очнулся уже в коридоре. Представитель подал ему таблетку, стакан воды и исчез. Шурочка посидел на мягкой кушетке и поднялся, прислушиваясь к ощущениям. Ощущений не было. Ничего не изменилось – словно он не преодолел барьер, а выдумал его, и тот растворился в прошлом. Какого-либо унижения, от которого по лицу идут пятна, а мысли и глаза юлят, он тоже не чувствовал. Просто нужно было жить и работать. Через полчаса его ждал министр. Шурочка сдал талон регистрационному автомату и, недоверчиво улыбаясь, пошёл к выходу.

Виртуоз

– Визивалы? – у беса был почему-то кавказский акцент.

– Предполагал, – туманно ответил виртуоз.

Бес огляделся, выхватил из воздуха сигару, щёлкнул хвостом, высекая искру, и утонул в кресле, напоминая маленький розовый вулкан, недавно остывший. Только колечки дыма, взлетая над покатым лбом, аккуратно опускались на рожки.

– «Боржоми»? – предложил виртуоз.

– Оппеа теа... – пробормотал бес. В лапах его оказалась склянка с чёрным как дёготь напитком. – Вода Стикса, – пояснил он, опрокидывая склянку в пасть.

Оба помолчали, выжидающе глядя друг на друга. Первым не выдержал бес.

– Желаете продать душу? – спросил он довольно угрюмо и уже без акцента.

– Вообще, да, но не уверен... не знаю, реальна ли такая сделка, и стоит ли мечта – души...

– Можете заложить, – вкрадчиво заторопился бес. – Если клиент не удовлетворён, то в течение месяца заклад возвращается совершенно безвозмездно. При оформлении закладной на год максимальное удержание не превышает десяти процентов, причём мы заранее не оговариваем, чем они будут представлены. По воле клиента, сновидения, желания, удовольствия, иллюзии. Подумайте, вы целый год пользуетесь всеми услугами сделки, а расплачиваетесь иллюзиями. Всего десять процентов души!

– Накладно, однако, – сочувственно заметил хозяин. – И многие так?

– Многие-то многие, да ведь душа нынче пошла, одно название, а не душа. Этакая мелочь, – бес растопырил ладонь, будто показывая, какие стали в Оке окуни. – Почти что в убыток работаем, только чтоб царю угодить...

– Какому царю?

– Ну, царю природы.

– Знаю я вас, угодить, – обронил виртуоз и так посмотрел на беса, что тот даже поёжился: а ну, как вправду знает. Бес был хоть и старослужащий, да всё ходил в капитанах, а таких – нет-нет, да проверят.

– Так каково ваше желание? – спросил он, нагоняя уверенности в голос.

– Не знаю, – ответ последовал неожиданный.

– Бывает, – не растерялся бес. – Могу предложить на выбор...

Клиент поморщился.

– Я виртуоз, – сказал он тихо и веско, словно положил кирпич. – В своём искусстве я могу всё. Полагается называть это вершинами мастерства, но ведь над любой вершиной, стоит ветру разорвать облака, – космос...

– Хотите последовать за Икаром? – бес не сдержал насмешки.

– Когда-то, – не обратил внимания собеседник, – я полагал главной творческой мукой – понимать приём, слышать звук, знать, как выстроить шедевр, но не уметь исполнить. Потом когда я одолел азы – о, азы, для многих бывшие недостижимой мечтой! – мне стало казаться, что самое мучительное – это отрабатывать нюансы, всё равно что выщипывать хлебные крошки у бога из бороды. Мало того, что лишь один из миллиона способен уловить трюк, на разработку которого я тратил месяцы, так я и сам, утончая и совершенствуя свою игру, переставал понимать цель и смысл этих упражнений, переставал слышать самого себя и бесконечно много бился над неисчислимо малым только потому, что чуял единственный путь, который вёл меня вверх. Но оказалось что страшнее всего здесь, наверху. Я умею всё; любую музыку, рождённую воображением расчётливого гения или безумца, или даже компьютерным мозгом, я способен довести до предела воплощения и превратить во что угодно – в плач воды или смех огня, в смерть дитя или сотворение мира... Но силу-то нам придают преграды! А свобода выбора,

полная свобода выбора сокрушает могущество. Что бы я ни создал, это добавит только камень к горе, каплю к океану. Причём, пока движешься вверх, чётко осознаёшь каждый шаг, буквально – по вздоху определяешь достигнутое. А шедевры, среди них нет старшинства; сотый, тысячный шедевр – вот в чём мука! Зачем?

– И вам нет равных? – сухо вато спросил бес.

– Пожалуй, могу назвать два имени... но один уже умер, а другой юн, он только вступил... возможно, на этот же путь.

– А вы, вообще, уверены, что там, как вы выражаетесь, в космосе, что-либо есть, а не только пустыня, заполненная миражами?

– А разве не могу я потребовать эфемерного?! – высокомерно заявил виртуоз.

– Вы экстраполируете своё локальное всемогущество, – заметил бес. – Возможно, это и не ошибка. И так...

– И так? – виртуоз подался вперёд, зрачки сузились, рука дрогнула, нашаривая бокал. Качнулись свечи. Тяжёлый мрак, оказывается, стоял за окном. Ударил и не повторился гром. Плеснули зарницы, как кислотой разъедавая бордовые портьеры. Вода в бокале вдруг окрасилась густым винным цветом.

– Вы желаете, чтобы я наделил вас сверхчеловеческим даром игры?

– О, прежде всего я хочу знать – что он такое?

– Узнав, но не в силах достичь, ибо это за пределами человеческих сил, – вы же попросту сойдёте с ума. А наделить я вас уже не смогу: желание единственно.

– Но если я обрету этот неведомый дар, и он будет вовсе не мечтой, а опровержением мечты, ещё большим страданием...

– Я же говорил, вы можете отказаться...

– Я уже не смогу отказаться, – возразил виртуоз. Он посмотрел на беса почти жалобно и произнёс: – Значит, только одно желание. Ну, хоть намёк!..

Бес пожал плечами и опять щёлкнул хвостом. Скрипка, всё это время лежавшая на столике между ними, вздрогнула и скользнула ему в лапы. Он столь стремительно чем-то взмахнул, что нельзя было разглядеть, смычок это или кочерга. Кипящим маслом брызнули «дьявольские трели». Вслед за тем бес скомпилировал полёты шмеля и валькирий и закончил каким-то неистовым пассажем на одной струне.

– Божественно, – похвалил виртуоз.

Бес фыркнул и отёр пот кисточкой хвоста. Хозяин отобрал у него скрипку, будто задумался, а затем в точности повторил дьявольское исполнение, только под конец расцветив оригинал такими каденциями, что в зелёных глазах задрожал змеиный огонёк.

– Скучно, бес, – сказал виртуоз, отхлёбывая из бокала, вновь посветлевшего.

– Вижу, игра идёт всерьёз, – ослабил тот. – Вам вправду нужно бесподобное. Но выбор есть выбор. Вы хотите kota или рассуждения о запертом в ящике коте?

Мысль только скользнула, ещё не превратившись в ответ, а уже был развёрнут свиток, и два пера, едва не уткнувшись друг в друга, поставили торопливые росписи. Вода Стикса, как ни нажимал виртуоз, оставляла невидимый след, зато чёртово перо, обмакнутое в «Боржомии», полыхнуло остывающими углями. Несколько минут скрипач ждал пояснений, пока не понял, что всматривается в тень, отбрасываемую стоящим посреди комнаты пюпитром, на который он сам только что положил скрипку. Его собственная рубашка сползала со спинки противоположного кресла, и пуговицы он принял за глаза.

Заблестали бесшумные молнии, всё ближе. Виртуоз подошёл к окну в полстены и отодвинул портьеру. Водяные струи заливали стекло. Ночь напоминала пасть дракона, вся в слюне и огне. Воодушевлённый образом, он приложил скрипку к плечу и, стоя перед окном, ударил по струнам. Полилась музыка, нежная, прекрасная, родная. Настолько родная, что он не сразу понял, что – не слышит её. В недоумении скрипач провёл пальцем по смычку и заиграл опять.

Тишина. И молнии били безмолвно, и шаги, когда он пересёк комнату, беспомощно озираясь, были будто в вакууме. Он оглох.

В третий раз, в отчаянии и ужасе, виртуоз коснулся скрипки и опять ничего не услышал. Он отшвырнул её и схватил со стола договор. Ему подсунули мёртвого кота!..

Пункт, вначале не замеченный, бросился ему в глаза. «В течение ночи... ибо если...» – и какая-то витиеватая деепричастная формулировка. Он поднял скрипку и заиграл с яростью, которую рождает только ожидание чуда. Верно, завывал ветер, потому что дождь то плескал прямо в стекло, то расчерчивал его громоздящимися друг на друга и исчезающими раньше взгляда иероглифами.

Скрипач играл с чувством, что пересекает пустыню. И когда очередной мираж не умер, а натёк предрассветною дымкой, чудо свершилось: он услышал тишину. В тишине было всё: образы и мелодии, вещи и смыслы, которые он когда-либо воплощал, которые знал или о которых догадывался. Внезапно он услышал, что за пределами той музыки, какую он заполнял мыслимое пространство и останавливал время, есть неисчерпаемость, испещрённая измерениями, – и в каждом из них открывался новый мир. Возможно, тишина вмещала Вселенную, но имела структуру. И она вела его, вела его руку. Виртуоз даже видел, что движение смычка изменилось, что пальцев на левой руке стало будто больше пяти, что скрипка вибрирует, соскальзывая с плеча, словно собираясь взлететь.

Он понял, что играет иначе, что музыка его прорвала горизонт и достигла свойств, которых раньше он не мог ни назвать, ни представить. Но залог её – был в тишине, в её скрученной в спираль движения бесконечности. В этом и состояла исподволь обещанная бесом высшая мука – не слышать собственного творения. И разве мог какой-нибудь случайный слушатель объяснить виртуозу, что тот, на самом деле, играет...

Пока совсем не рассвело, он упивался неслышимой музыкой, и страстно мечтал отказаться от неё, вернуть этот страшный дар. Но он заранее знал, что возврата не будет.

И прошло сколько-то часов или лет, прежде чем виртуоз понял, что скрипка уже не нужна, что тишина сама способна играть в нём. В газетах же писали о сломленном болезнью гении, навек замолчавшем.

И только в той бездне, куда влекла его своею музыкой тишина, всё чаще и горячее вспыхивали жёлто-красные ждущие всполохи...

Письма с Парнаса

Любезный собрат! Ваша последняя статья, переведённая и перепечатанная разом несколькими нашими газетами, произвела фурор среди столичной интеллигенции. С горечью за своих соотечественников должен свидетельствовать, что большинство представителей нашего «сословия», в том числе те, кого в нормальных условиях отличает здравый смысл, толерантность и чуткое понимание подоплёки вещей, – увы, и они, оказавшись охвачены предвоенной истерией, скорее, брызжа слюной, рассыпали инвективы, чем попытались вдуматься в высокий гражданский смысл Ваших мыслей. Тем ценнее солидарность немногих, мнением которых я особенно дорожу. Ваш анализ борьбы социальных инстинктов, жертвующих коллективным самосохранением во имя фантазмагорических интересов отдельных групп и разложившихся личностей, интересов, в конце концов, самоубийственных, математически точен и хирургически беспощаден. Даже не верится, что эти суровые слова произнесены одним из тончайших современных лириков, виртуозом по части передачи зыбких, неопределённых ощущений. У Вас всё определённо и принципиально. Признаюсь, не только с сочувствием, но и с некоторой завистью прочёл я Вашу статью. Впрочем, превыше зависти потребность, почти физическая, выразить нюансы собственного душевного состояния, облечь дрожь и негодование Музы в набатные слова.

С глубоким уважением, всегда Ваш А. Б.

Дорогой друг. Итак, страшное, роковое свершилось. Война, в которой никто не сомневался и, одновременно, в которую никто до конца не мог поверить, как не верит современный человек в оборотней, упырей, нетей, – война началась. Ещё дипломаты пишут ноты, ещё танцуют в кабаре и дети прилежно учат падежи и склонения... дети, чьи отцы уже гибнут... и летят под откос поезда, и по всему континенту рыдают матери и вдовы. Ужасно!.. но ужаснее всего, быть может, что это чудовищное, запечатанное в имени *война*, сделано обычными человеческими руками и мозгами – и сделано именно затем, чтоб оторвать руки и разорвать мозги, ибо ни в какое сознание нельзя вместить происходящее... Или приходится признать, что рухнули не только политические скрепы общества, но и сама человеческая природа безнадежно разрушена.

В эти тяжкие дни – как глоток нектара – Ваша книга сонетов. Некоторые я перечитываю уже на второй, на третий раз – и всё открываю новые грани, игру тщательно выстраиваемых и тут же перегруппируемых смыслов. Воистину в этой книге Вы покорили новую вершину. Рецензию на неё, вместе с избранными переводами, я намерен разместить в ближайшем номере нашего «Парнасского обозревателя». Дойдёт ли он до Вас?

С совершенным почтением, Ваш А. Б.

Милый R! В своём последнем письме, выхваченном буквально из воронова клюва (Вам ли, автору единственного, наверное, *поэтического* перевода Соломоновых песен, не ясен этот символ!), Вы сообщаете, что почтовая связь между нашими странами прерывается. Ещё одна потеря... По счастью (если счастье ещё возможно в нашем мире), у меня имеется надёжная окольная оказия, так что мои корреспонденции, скорее всего, смогут достигать Ваших пределов. Постараюсь не превращать своих писем в монолог.

Увертюра войны, с её бравурным безумием, демагогическим пафосом и быстро сменяемой воодушевления и отчаяния, в зависимости от успехов или неудач, о которых через неделю никто не помнит, – увертюра эта сошла на нет. Наступили будни, обнажившие самое сердце войны, и имя этому сердцу – пошлость. Именно в воинствующей пошлости видится мне сущность эпохи, апофеозом чего и стала мировая катастрофа. Всё алчное, бесталанное, мелочное

теперь на виду, вся мерзость, до времени таившаяся в буржуазном «прогессе», повывлезала на свет и жадно требует добычи – крови и, конечно, денег, кровавых денег. Тяжело смотреть людям в глаза. Тяжело писать.

Ваш А. Б.

Дорогой Поэт! Перечитал на днях «Поэму предчувствия», в той самой тоненькой сероватой книжице, что Вы подарили мне при первой нашей встрече, сто лет тому назад, в К. Подумать только! К. разбомблен, аллеи, в которых мы с Вами гуляли, сожжены, храмы осквернены... Счастье, что картины знаменитой К-ской галереи удалось, по достоверным данным, спасти. Но даже и тут, пришёл я к убеждению, нельзя отчаиваться. Может быть, мы подобны Ною среди потопа мировой цивилизации; а всё-таки кто-то должен строить корабль, кто-то должен хранить знания и язык, кто-то должен оставаться человеком...

Так вот, о поэме. За прошедшие годы я выучился проникать в лабиринты и потайные кладовые вашего (то есть национального, но также и Вашего, то есть авторского) непростого языка. Это позволило мне открыть в поэме такие смысловые обороты, такие нюансы и идейные векторы, какие я и не мог уловить ранее. И лишь теперь я сумел вполне оценить не только специфическую мелодичность вашей просодии, не только игру звукописи и скрытые интонации, но и саму ювелирную точность пророчества. Поразительно, как вам удалось за столько лет предугадать тот психоз, в который ныне впало «высшее общество», предугадать и ухватить весь нервический болезненный пучок. Замечательно, что всё это сделано лаконично, просто, даже с внешнею сухостью, но с таким, не побоюсь сказать, реалистическим изяществом, что дух захватывает. Тут сильнейший контраст с теми громоподобными и огнедышащими эпитафиями, которыми снабжает свои скороспелые военные репортажи нынешняя поэтическая братия. Пишете ли Вы теперь сами?

Всегда преданный Вам А. Б.

Дорогой друг. Странное нынче время. Размах качелей войны всё увеличивается, вот уже тихие, казалось бы, тыловые городки, как с нашей, так и с противной стороны облизаны огнём, и конца-краю этому не видно. Жертвы множатся, льётся и льётся кровь; а мы здесь ходим в заседание, издаём журнал, спорим о силлабике и модернизме... В самом понятии вдохновения мне теперь чудится что-то постыдное. Необходимо делать что-то настоящее, спасительное, способное облегчить народные мучение. Но что? – когда вооружён только словом, притом словом, в своём настоящем значении доступном едва ли не лишь эстетам. Поэтому моё главное сейчас – поиск новой формы и новой музыкальности поэтического языка, языка, который должен быть созвучен массам. Но во что и когда это ещё выльется, а – сейчас, немедленно?

Между тем Л. подалась в санитарки, Г. фельдшерит, Б. состоит при каком-то военном комиссариате, и даже милейший неуклюжий подслеповатый К.-К. прислал откуда-то свою фотокарточку, где он в горском одеянии гордо восседает на коне. Может, это и есть то малое, а настоящее, в чём мы только и можем слиться сейчас с народом, избыв мучительное чувство вины... вины за не предотвращённое? Но – фронт, смерть, крайний абсурд бытия. Страшно помыслить. Если оно не придёт само; а поговаривают, что и до нас скоро доберутся. Недавно забрали Н. Вы моложе меня, – и, как знать, возможно, в те самые минуты, когда я пишу это письмо, уже пьёте из чаши сей...

Любящий Вас А. Б.

Милый моему сердцу R! Как-то внезапно это случилось, хотя и шло неминуемо. После очередного провала наше бездарное продажное правительство объявило истерическую мобилизацию, под которую попадает и мой возраст. Известие это словно парализовало мозг. Вероятно, можно было поискать каких-то лазеек, кружных путей – во имя пацифистского принципа, во имя пресловутой слоновьей башни? А гибнут пусть другие?! Есть в этом что-то Пилатово...

Да и потом, ведь горит и вправду родная земля, умирают соотечественники, среди них и близкие люди, – и уклониться в этот час пусть от мучительного долга было бы поступком постыднейшим. Но и идти – только на гибель. В сущности, душа располовинена, а когда воля бездействует, беспомощно отдаёшься течению судьбы, зная только, что нельзя иначе.

Впрочем, барон З. обещал похлопотать относительно определения меня в инженерные войска, – всё-таки курс тригонометрии, пройденный мною некогда из чистой любознательности, может пригодиться. Как-то поживаете Вы, милый R...

Ваш А. Б.

Собрать мой по перу, а теперь, возможно, и по штыку. Несчастье! Барон З. при объезде позиций смертельно ранен осколком снаряда. Письмо его, верно, затерялось где-то в комиссии, и я, таким образом, определён в какое-то летучее соединение пехотного полка, да притом ещё командиром этого соединения, ибо, видимо, неудобно было ставить меня рядовым. Конечно, командование моё сугубо номинальное, да и функции нашего соединения самые неясные: то мы бездельничаем в третьем эшелоне, то прикрываем чьи-то тылы, то нас куда-то перебрасывают. Было несколько стычек, где пришлось стрелять, – мог ли подумать добрейший мсье Ш., на что сгодятся его тренировки!..

Должен сказать, что первые дни здесь очень опрокинули меня в одном отношении. Ранее мне каким-то фантастическим образом представлялось, что война совершается хоть и через людей, но – между людьми и некою inferнальной, иррациональной силой, собственно, между гуманизмом и «арейством». Но в реальности сражаться приходится именно с людьми, хоть и пришедшими погубить родную землю, а потому воплощающими этот самый демонизм, и, в то же время, невинными в своём неведении агнцами, такими же жертвами, как все мы. Вообще, всё страшно запуталось, – приходится открывать в себе способность подолгу ни о чём не думать...

Простите меня за это письмо, в нём есть что-то стыдное, но иначе и об ином я сейчас писать не умею. Впрочем, когда Вы его ещё получите. Ему предстоит преодолеть тысячи километров, тогда как – странно вообразить! – нас с Вами в эту минуту разделяет час-другой воздушного полёта.

По-прежнему преданный Вам А. Б.

Дорогой R! На фронте затишье, провожу время в учениях, рытье окопов, досужих разговорах и наблюдениях. Литературы здесь никакой. Да и существует ли она где-либо? «Обозреватель», впрочем, выходит и доставляется исправно; в последнем номере мрачный мистик С. опубликовал цикл стихов, в которых утверждает, что война не кончится никогда. Меня тоже терзает, – послал перевод Ваших *Готических сонетов*. Самому же строить рифму кажется кошунственным. В рифму здесь говорят гаубицы.

Хотя народная речь, говоры местностей и окраин, фольклор, в том числе и поэтический, – всё это чрезвычайно интересно, богато, выливается наружу само собой, вовсе не в результате каких-либо специальных технических усилий, и, наряду с характерами, и составляет предмет моих наблюдений.

Со времён П. мы всё говорим о народности, стремимся к ней, возводим её в фетиш, в символ веры; а народа своего, в подлинной его жизни, так и не знаем. Может, и я, несмотря на своё деревенское детство и скромное разночинное студенчество и даже те старые статьи, где я писал о коренном разломе, распаде страны на две общественных половины, глухих друг к другу и друг друга глухо ненавидящих, – может, и я, как бы оказавшийся меж этих половин, народа бы нипочём не узнал и не понял. А здесь, где мутная стихия *первобытности*, благодаря уставу, будто кристаллизовалась, стихией всё же быть не перестав, я по макушку в неё и окунулся. Да, тут есть и те самые *болотные газы*, и опутывающие волю водоросли, и грязь, и тина, и безнадежные омуты, но есть и простор, и глубина, и игра подспудных, не выявленных

ещё сил, и, главное, мощная струя исторического императива. Вам, из окопов другого опыта, с высот иной истории, мой восторг, пожалуй, покажется вялым, высосанным из пальца или, чего доброго, узко-национальным. Тем не менее, я открываю для себя что-то новое...

Ваш верный А.Б.

Друг мой! Кажется, я вновь слышу музыку, хотя это совсем не та уже музыка, что вдохновляла мои метели, что сопровождала мои европейские странствия, что придавала оттенок изящества всякому страданию, что заставляла подчас стремиться к вычурным, странным диссонансам. Сейчас это, скорее, смесь Ваших любимых Вагнера и Паганини – сочетание, всегда вызывавшее во мне удивление и стремление доискаться до мелодических основ вашей поэзии: проблема больше моего уха, чем Вашего стиля. А, с другой стороны, нет ли в поэтическом мастерстве некоего неистребимого цинизма, принуждающего мозг не просто к рефлексии, а заставляющего его всякий факт реальности, сколько бы грязен или ужасен он не был, проведя сквозь плавильню мышления, претворять в творческий перл, соотнося его с канонами просодии? Вырваться из этого высокородного цинизма – вот чего ищет моя Муза!

...Среди тех, кто ныне окружает меня (по счастью, в переносном смысле), есть люди весьма интересные, общества которых я не променял бы на салонных болтунов, в сонме которых, увы, и сам некогда состоял. Особенно сблизился я с Ф. Простой солдат, из крестьян, он, фактически, исподволь и руководит мною, а значит, и всем нашим маленьким отрядом, даром что не разбирается ни в топографии, ни в стратегии. Причём он не только не придаёт своему «руководству» какого-либо значения, а даже, кажется, и не замечает его. Вечерами я частенько беседую с этим новоявленным Платоном. К моим речам, правда, он относится со скепсисом, как к «барской блажи», сам же учит меня и некоторым навыкам, и здравому смыслу, и снайперской стрельбе. Прирождённый охотник, в службу он явился с собственным, необыкновенным каким-то ружьём и коробкою заказных пуль с именными вензелями. Из этого следует, что он весьма небеден; а на вопрос мой, отчего же он не откупился от армии, Ф. ответил путаным рассуждением о народном терпении, заключённым выразительным и простодушным «нельзя было не пойти». Не родной ли это брат моего «нельзя»?

Попечением Ф. я уже попадаю на пятидесяти шагах в крупное яблоко. Посылаю Вам два образца моей «новой» поэзии. Не покорёжит ли она Вашего слуха?

Честь имею, Ваш А. Б.

Бесценный мой R! Тороплюсь написать, так как предстоит бой, и в этот раз дело, похоже, завяжется серьёзное. А смерть понемногу опутывает меня. Пришло известие, что в первый же фронтной день погиб С. – и война для него теперь, действительно, бесконечна. И вчера же убили Ф. Я говорю «убили», хотя, когда его внесли в палатку, ещё дышавшего, и я своими руками закрыл ему глаза, ощущение, что он кем-то именно убит, повержен, как повергали герои Трои друг друга, вовсе исчезло. Это был абстрактный и безличный удар рока, напоминающий, должно быть, смерть от скарлатины моего маленького брата. Мне самому было тогда лет четырнадцать, хорошо помню свои слёзы – и то, что слёзы эти выжгли на бумаге моё первое настоящее стихотворение. Я плакал и сейчас – как по родному брату.

Перед кончиною он прошептал несколько слов. Вы, наверное, подумаете, что он вспомнил о доме, о жене (а он был семейный), о боге? Нет, это были слова завещания, – Ф. оставлял мне своё куперовское ружьё! Хоть оно великовато, возьму его непременно.

Не сердчайте, дорогой друг, на серый карандаш и почти такой же листок, – под рукою лучшего не нашлось. Засим – как знать, возможно, прощайте.

Всегда Ваш, на том и на этом свете А.Б.

Уважаемый А. Б. Я простая женщина, и мне не под силу разобраться в вашей переписке с моим сыном. Часть писем хранится у нас дома, самые же последние – около дюжины –

были найдены при нём, аккуратно сложенные в шкатулку и перевитые чёрною тесьмой. В этой же шкатулке оказалось несколько ответных писем Роберта, не отправленных, скорее всего, потому, что они в нынешнее время всё равно б не дошли или проплутали бы бог знает сколько (то, что я пишу, доктор Х., друг нашей семьи, любезно согласился переслать с дипломатической почтой). Простите мне моё любопытство, я заглянула в несколько писем, его и ваших, – и испытала то же противоречивое чувство, какое-то любовное раздражение, с каким некогда выслушала решение Роберта сделаться литератором... а потом читала его стихи, прекрасные, говорят люди, но очень уж непонятные... и когда умер отец, а Роберт ведь старший брат в семье, у меня ещё трое... но какая уж помощь от поэта... Так *как*, вы полагаете, мне следует распорядиться этими письмами – отправить, когда это будет возможно, всё вам, или, по совету доктора Х., передать в местный музей? Правда, сейчас он закрыт.

Я знаю, что Роберт любил и ценил вас и гордился дружбою с вами. Ваша фотография и сейчас стоит на его письменном столе. Он, бывало, говорил мне: «вот, мама, у кого надо учиться...» Я хоть и не всё понимала в его речах, а он часто разговаривал со мной, рассказывал, – может, потому, что врагов в вашем, литературном-то мире у него было куда больше, чем друзей. Одни завидовали, другие травили... В начале этой проклятой войны и вовсе. Вообще, жилось ему трудно. Ну, хоть умер легко. Пуля угодила в самое сердце. Мне, когда извлекли, показали. Пуля как пуля, только выцарапано на ней, что ли – два круга и разделяющая (или соединяющая?) их чёрточка. Доктор Х. сказал, что это символ европейского воздаяния. Да не понимаю я в ваших символах...

С совершенным почтением Marta R.

Ансамбль

Маркиз раздвинул пряди ветвей, и в лозняке открылся узкий проход. Он, шевеля плечами, пошёл первым. Листья стрекотали по его камзолу.

За ним пробирались юные супруги. Их медовое путешествие едва достигло своей середины, и от случайного прикосновения в щеках вспыхивал румянец. Следуя за шёлковой спиной, виконт поймал губами шальную сиреневую ягоду, обернулся и вложил её в набежавший поцелуй. Оба замороженно отстали. Удаляющийся маркиз прошелестел что-то касательно белого платья. Виконтесса нерешительно засмеялась.

Они выбрались из лабиринта и остановились, ослеплённые. Небольшая солнечная лужайка, со всех сторон скрытая плотными зарослями, была аккуратно засеяна барвинком и лютиком. Чередование идеально ровных квадратов легко сообщало синевато-вишнёвому и жёлтому цветам значение их символических пределов, будь даже поляна пуста. Но на ней стояли люди – почти тридцать два человека: недостающие пятеро сидели на траве поодаль, у миниатюрного, тоже квадратного, прудика.

Конечно, их кожа не достигала хроматического идеала: сливочная женская белизна, всхоленная под косметической защитой, была столь же условна, как и темнота мужских тел, – это были светловатые североафриканские негры вперемешку с дочерна загорелыми европейцами. Однако само соотношение красок и расположение людей на цветочной поляне не оставляло сомнений в том, что маркиз привёл молодожёнов на некий пленительный шахматный розыгрыш.

И – все живые фигуры были наги. Единственной их одеждой были головные уборы – фесочки, короны и шляпки, – соответствующие роли игрока. Кроме того, пешки были ниже других, а обе королевские пары будто сбежали из волейбольной секции.

Едва выбравшиеся из титульных пещер за границы совершеннолетия, молодые супруги лишь вчера не погасили ночника. Теперь, в лапах коварного маркиза, голова виконта кружилась от двух противоположных чувств – желания сладострастно созерцать и мучительного стыда. Он покосился на жену. Слегка покрасневшая, она оставалась спокойной, глядя на импровизированную доску с тем же невинным интересом, с каким днями раньше замирала перед рвущимися из себя телами Тициана или Родена.

– Кажется, сицилианская, – вымолвил маркиз с безразличием не перед людьми, а над слоновой костью.

Но было в его тоне напускное. И никто из троих ещё не был естественен, каждый – проверяя, как отреагируют другие. Торопясь, чтобы подавить сердцебиение, виконт сказал первую пришедшую мысль:

– Но ведь леди – изначально слабее, да белые и стоят хуже!

Ему неожиданно ответила виконтесса:

– Даже если признать некоторую интеллектуальную слабость, о чём, *monsieur*, я бы с вами поспорила, нельзя не признать за этими дамами других, в особенности тактических, достоинств...

Кивком бровей, какой вырабатывается годами зеркальных тренировок, она показала на поляну. В самом деле, белым не удалось правильно развиваться. Хотя они успели рокировать, их ладья, стиснутая собственным слоном, была вперёд лишена ходов и стояла, тесно прижавшись к королю. Оба, вернее, обе – дама-король и ладья – точёным изяществом своих бёдер и плеч, как и юной безмятежностью лиц, напоминали каких-то греческих богинь, но отнюдь не мраморных, поскольку, надолго запертые, они, полубнявшись на границе квадратов, ловкими и едва заметными движениями ладоней обскальзывали друг друга, то погружаясь в сладостную глубину лона, то лёгким пощипыванием пальцев имитируя поцелуи. Другие, более

свободные, или более свободные от этих наклонностей, белые фигуранты стояли в позах распутно-скромных, точно подманивая к себе мужское воинство и одновременно предупреждая о возможном отпоре.

В свою очередь, тёмное племя колыхалось и приплясывало, переходя от предвкушения к возбуждению и обратно. Дальние из-за затылков передних выглядывали лакомые цели. Те из чёрных фигур, которые были уже в гуще событий, соседствуя с несколькими белыми, беспокойно вертелись на месте, а потом вдруг, выбрав предмет краткого обожания, замирали, словно охваченные лёгкой истомой. Удивительным было, что мужской лакунный прилив подчинился какой-то общей волне, так что сбоку, для зрителей, возникала картина стремительного копьевого ощетинивания, успокаивающегося на одном фланге, пока на другом оно подбиралось к пику. В целом, наблюдался некоторый разброд интересов, не дававший чёрной стороне вполне сосредоточиться на игре, – вероятно, его и имела в виду девушка, смело не отводившая взгляд от чередующихся вздыманий.

Выждав, пока виконт уяснит себе всю картину, маркиз сказал:

– Да, но у дам – всегда право выступки. Кроме того, они собраны по элитным клубам Восточной Европы, – добавил он внушительно; и за его произвольным ударением на глаголе моментально вырос сад, по которому они втроём только что гуляли, и подлинный замок времён столетней войны, и вставшая в густо-голубой восход, даже на песок бросающий отблеск, яхта, и где-то на границе воображения маслянисто вспыхнул нефтяной фонтан.

В эту минуту одна из белых пешек балетным прыжком пересекла диагональ. Чёрный партнёр подхватил её, не давая опуститься, – и они слились в стремительном мотыльковом коитусе.

– Ах! – рука жены ухватила кисть виконта. Он стиснул её пальцы. Или было бежать сразу, или принимать всё.

Пара распалась так быстро, что заставила усомниться в увиденном. Только жемчужная капля крупно скатилась по бедру игрока чёрной пешки, когда он сошёл с доски. Тут же, одновременно вздрогнув и взметнув по копыю, курчавый густопородный конь и глянцево-лиловый слон ринулись было к подставленной пешке. Мгновение задержало их – раздумьем то ли о приоритете, то ли о позиции. Решалось – анализ или страсть возьмут верх, и прыгнул всё-таки, как поступил бы и виконт, конь.

– Но кто ими управляет?! – словно не веря в ответ, воскликнула виконтесса.

– Никто! – со сдержанным ликованием ответил маркиз.

Тем временем чёрный конь, точно по праву взятия, толкнул слегка пешку в плечи, – и она, скользя губами по волосатому животу, опустилась на колени. Они располагались как раз в профиль; и супруги одновременно отвели глаза, не осмеливаясь взглянуть и друг на друга. В груди у виконта теснило и кружилось, его панталоны готовы были лопнуть, и почему-то он чувствовал себя разоблачённым женою: будто те далёкие и постепенные мечтательные планы, проросшие из отроческих фантазий, которые сам он запикивал на задворки сознания, – вдруг, изложенные с кинематографической чёткостью, объявились ей. То, что они вместе это видели, в приступе стыда помыслилось ему предложением, почти требованием. Но в глубине души: не то, какие преждевременные врата откроются их взаимному трепету, а – не отвратит ли виденное от того, что робко, как в тумане, проступает в их ночных ласканиях.

С каким ожесточением знать проник бы он сейчас в чувства своей жены! И она, словно помогая ему, произнесла, с крупницею фальши:

– Какое-то эфиопство!..

Один маркизов ус приподнялся чуть выше другого. Краем глаза виконт увидел, что сцена окончена и вспененная пешка, облизывая губы, покидает лужайку. Впрочем, конь последовал за нею, на ходу снимая гривастый ахейский шлем. Он передал его мулату, на замену поднявшемуся от пруда, сам же приступил к омовению. Бывшая пешка откупорила одну из стоявших

прямо на траве мрачно-благородных бутылок и подала купающемуся коню розовый шипящий бокал.

Последовала пауза. Все игроки были очень молоды – в ровесники супругам или едва старше.

– Вы хотите сказать, что всё это первоклассные шахматисты? – усомнился виконт.

– Именно первоклассные, – сказал маркиз. – Но не более того. У них нет аутсайдеров, но нет и лидера, который сковывал бы их мысль. На досуге они анализируют сыгранное, они учатся, они растут, но во время партии им запрещено переговариваться и подавать друг другу какие-либо знаки. Кто сделает ход, и какой, – бывает неясно даже в дебюте, это зависит, как вы сами заметили, от ряда причин...

– И каков же... каков уровень этих партий? – спросила виконтесса.

– Обещающий, – рассмеялся маркиз.

– Мне известны, – стал перечислять виконт, – помимо классических и фишеровских шахмат, магараджа, шахматы лазерные и гексагональные, триошахматы, фигурбол, и, наконец, стереошахматы, которые мы практиковали на курсе высшей топологии. Я не говорю о тех десяти десятках модификаций, которые получаются усечением – или же удвоением – доски. Сейчас в моду входят ретрошахматы, заставляющие игроков переигрывать старые позиции, а также парные шахматы, с поочерёдными ходами, но в них ведущий, как правило, выстраивает всю логику игры, тогда как ведомый, тоже сильный мастер, пытается проникнуть в замысел партнёра и действовать адекватно... Однако ваш вариант – он кажется диким, невозможным. Как шестнадцать человек, не сообщаясь, могут согласовать свою игру?!

– И пусть бы они сидели у компьютеров, – подхватила жена. – Но какое отношение имеет это секс-шоу к шахматному мастерству!

– Мадам, можете считать это моей прихотью.

– Не верю!

– Конечно, – согласился маркиз. – Это не извращение и не изощрённая форма, в которую я хочу влить свою идею. Назовём это попыткой симбиоза. Боюсь, компьютерный опыт ничего бы не дал. Пресловутая думающая компьютерная арфа – из области когнитивного идеализма. Настоящий ансамбль должен быть вочеловечен, и разве вы откажете моим шахматам в том, что они действуют самым человеческим образом?..

– Вероятно, и вы, маркиз, изредка присоединяетесь к игре? – не сдержался виконт.

– А, вы заинтересовались!

Реплика была столь любезна и столь дерзка, что жена, которую он всё ещё держал за руку, вырвалась из воображения и, в образе одной из белокурых наяд, приместилась на лужайке. На секунду почудилось, что, если бы не маркиз, они вдвоём – в самом деле, подумали бы об этом...

Партия, между тем, продолжалась. Произошло несколько ходов и страстных взятий. Было понятно, что розовый напиток, которым услаждались и охлаждались игроки, включал в себя некоторые ингредиенты, предохранявшие игру от нудного нудизма, и, серия за серией, пробуждавшие фигурантов к охоте друг за другом. Они, и вправду, совершенно, не разговаривали. Тени маленьких, будто игрушечных, облаков вариантами проносились по доске. Часы на солнечной батарее переключались автоматически, при каждом ходе, вернее, при каждой коде.

Маркиз подошёл к пруду, взял одну из бутылок и предложил гостям. Виконт удержал жену на втором глотке. Сам он тоже едва отпил и поставил бокал, чувствуя, как пузырьки заплясали на языке.

Поскольку не в небо же было смотреть, виконтесса продолжала следить за игрою. Вглядываясь в жестикуляцию и мимику белянок, она любопытствовала, словно примеряя на себя невозможную роль. Мельчайшие перемены её лица – не были ли уже ролью? В то же время,

оценка, предпосланная будущему, сквозила в выражении, с которым глаза её перебирали темнокожие тела. Виконт не затерялся бы меж этих торсов и чресл, но он вовсе не хотел угодить в сравнение! Ему казалось, что испытание выдержано и следует поскорей уйти, но не решался предложить это жене – возможно, из стыда выдать свой стыд.

Эндшпиль был очевиден, однако игралось до мата – до награды последнего обладания. Чёрный ферзь медленно продвигал двух адъютантов в королевские владения, где за пешечным забором ждала своей участи всё та же игривая ладья. Ещё белый слон метался поперёк лужайки. Мат был неотвратим, вопрос был в том, справится ли с этим ферзь или ему суждено погибнуть, а мат даст дошедшая до края поля и готовая сменить шапочку на корону пешка. Борьба, в сущности, велась между чёрными: высокий алжирец и загорелый крепыш, искоса поглядывая друг на друга, торопились решить дело в свою пользу. Притом допущенная в запале ошибка могла стоить и победы.

Это была квинтэссенция того, что маркиз назвал симбиозом, но именно в этот момент виконтесса потянула мужа за локоть. Пресыщение и призыв можно было ощутить в цепком обхвате её пальцев. Маркиз кивнул и вновь пошёл вперёд, громко говоря:

– Надеюсь, вы не слишком осудите меня за этот опыт. Согласитесь, вы бы сами были разочарованы, если б я скрыл от вас свой... ээ... свой ансамбль. Конечно, разнообразие шахматных комбинаций несопоставимо превосходит количество комбинаций сексуальных, хотя... – он коротко обернулся и вполне двусмысленно замолчал.

– Да, но чему служит ваш, как вы выражаетесь, ансамбль, какой цели? – не поддержал двусмысленности виконт, с лёгким сладковатым ужасом думая о том, чего они тут ещё не увидели, и какие фантазии обмолвка маркиза разбудит в этой чистой, доверчивой, и в чём-то наивной девушке – его жене. – Вы рассчитываете создать шахматного гения? Коллективного гения?

– Коллективный разум, – медленно произнёс маркиз, и обоим супругам показалось, что вот сейчас, впервые за весь день, он говорит окончательно всерьёз. – Он ведь непредсказуем. Им нельзя управлять. Наоборот, он сам – ключ, инструмент для управления... но чем? Я пока не знаю. Я придал ему такую форму, поскольку люблю шахматы, мирнейшую из войн, и люблю, когда люди наслаждаются друг другом...

– Что можно трактовать и как хорошо оплаченный разврат, – монастырским тоном возразила виконтесса.

– Лучше оплаченный, нежели оплаканный. Потом, каждый из них делает свой выбор и следует своим желаниям, каковы они в конкретный миг. Только эти желания в бесконечности своих вариаций скованы общею силой, вовлечены в русло гамбита, миттельшпиля, исследования того или иного начала. Как это происходит! – я сам до конца не понимаю: шахматы – но с точки зрения отдельного элемента, на месте которого попробуйте представить себя...

– Не надо, – ответила она полушёпотом.

Он рассмеялся:

– Что ж, снимаю шляпу перед вашим воображением. Я хочу только сказать, что эта общая сила – она не суммируется элементами и ищет собственного, пока неизвестного, проявления. Мне кажется, сей эмерджентный выплеск близок.

Замок был автоматизирован и пуст. Они нетерпеливо поужинали. Вместо вина был всё тот же напиток, пляшущий на языке. Супруги смелее пригубили его. День закатывался. В сумрачном прохладном зале череда солнечных соитий на шахматной лужайке начинала представляться если не сном, то какою-то грёзой, увиденной сквозь мутноватую твердь кристалла.

Маркиз отправился в кабинет; супруги же поднялись в отведённые покои, все в бардовых бархатных драпри. Виконт мнительно огляделся, но видеокамер не было. Тонкие язычки диодных свечек дрожали, как настоящие.

Он обнял жену и, не давая ей ответить поцелуем, заглянул прямо в звёздное дно её глаз. Ему хотелось сейчас окутать её душу какими-то неизвестными, неслыханными покровами целомудрия – и одновременно разодрать её тело. Но платье – белое, обористое, невесомое – он снял с неё как драгоценность. Затем они впились друг в друга.

Акт был прекрасен, но вовсе не удовлетворил его дух. Они дважды повторили: он – с отчаянием, она – каждый раз как впервые. Чем ближе они были, чем плотнее совпадали синусоиды желаний, тем явственней чувствовал виконт, что он не способен проникнуть в мысли своей жены, что, как кожа родинками, нюансами испещрена страсть, и её подлинная душа, как её ни окутывай или рви, ускользает от его объятий, потому всё более требовательных и всё более усталых.

Они уснули друг на друге, вздрагивая от дыхания. Ночью их разбудил какой-то невнятный и недолгий шум, но заставил не подняться, а продолжить начатое вчера. Оба втайне понимали, что такому уже никогда не повториться. И вновь уснули, мечтая о бесконечности, однако ещё до солнца виконт встал.

Он подошёл к окну и с удивлением увидел, как в чуть брезжащей синеве туманные люди – небольшой отряд каких-то людей – всходили на палубу яхты. Та же – дремала всем своим гордым, длинным телом, почёсываясь о причал и не понимая, даже не догадываясь, что происходит.

– Странное событие, – не понял и виконт.

Юная виконтесса поднялась, впервые так на свету – не стесняясь своей наготы, а ища – мужу или Эолу её отдать. Она подошла к окну, подхватывая его тревогу. Затем оба оделись и пошли искать маркиза.

В спальне его не было, да он, похоже, и не ложился. Они спустились этажом ниже. По пути к кабинету виднелись лёгкие, ещё непонятные, следы – будто вторжения: разорванная портьера, разбитый вазон. Дверь в кабинет была распахнута. Виконт откинул занавесь.

Прямо против них в массивном дубовом кресле, может, служившем и тронном в хлодвиговские времена, сидел мёртвый маркиз. Голова его, с кровавым пятном на виске, была запрокинута точно в тронный вырез. Сейф возле стола был вскрыт и опустошён, другой же, поменьше и, вероятно, замаскированный, извлекли из стены и унесли. Все драгоценности, вчера украшавшие кабинет – камни, слоновая кость, картины – исчезли. Стекло над ювелирной коллекцией было разбито, и на бархатной подстилке, будто в насмешку, валялась одна изумрудная брошь.

Виконт подошёл к столу. Перед маркизом, тоже окровавленный, лежал большой, размером с бутылку, бронзовый конь. Им он либо защищался, либо, скорее всего, конём ему и проломили голову. В эти бронзовые шахматы виконт играл накануне с хозяином здесь, в кабинете.

Супруги поднялись наверх, к телефонам. Уже рассвело, и жёлтый диск вполтину выдвинулся из-за моря. Яхта отходила от берега. Хорошо можно было разглядеть фигуры людей, слаженно перемещающих что-то на палубе: белокурые женские головы вперемешку с тёмными мужскими.

– Боже, какое безумие, какое безумие! – повторяла виконтесса.

– Безумие, – согласился виконт, – ведь они не сумеют ничем воспользоваться, куда они убегут?!

Яхта тем временем наплыла на солнце и сделалась невидимой. Неизвестно, куда бежал коллективный разум и было ли это только бегством. Что ждало его: рассеяние в миллионных мегаполисах, необитаемые острова или, может быть, та страна сновидений, путь в которую неизвестен никому?

История шкафа

Памяти Л. Резник

Дуб срубили, распилили на доски, доски собрали, склеили, прошлись по ним тонкими медными гвоздочками и превратили в шкаф. Многого, конечно, уже не хватало, и кое-что добавилось: еловые перегородки, зеленоватые стеклянные дверцы и бронзовые ручки, звонко брякавшие, пока шкаф ворочали с боку на бок. Но дуб и в прежней своей жизни знал перемены. А сейчас, как только главные элементы его тела сошлись вновь, он понял, что жив, и почувствовал в себе душу.

Впрочем, жизнь и душа были одно и то же, и этим он отличался от людей. Они ходили вокруг него, постоянно что-то всовывали или доставали, размахивали руками и говорили, говорили; но их душу он ощущал только по ночам, когда рядом никого не было, и можно было перещупывать внутри себя запахи, заключённые в носовые платки, или смех, дрожащий в причудливых безделушках, или, что он особенно любил, мечту, заключённую в кривых чернильных строчках чьих-то писем. Письма то каждую неделю пополняли один из его пузатых, вместительных ящичков, то замирали прибытием на несколько месяцев, и тогда одна молодая особа забывала вытирать со шкафа пыль, а однажды пролила на него пахучее масло. Запах выветрился, а пятно вывести так и не удалось, и это была только первая из отметин. Впоследствии треснуло узорное стёклышко, а заменить его было уже нечем, откололся краешек полки, отпал, был дважды приклеен и всё-таки потерялся кусочек декора, а игрушечная свечка закоптила потолок своей маленькой ниши, куда никто никогда не заглядывал. Так на нём фиксировало себя время.

Вообще же, шкаф был снисходителен к людям. Они, в сравнении с ним, были маленькие, суетливые, непостоянные. Иногда исчезали, а другие вдруг появлялись из тех таинственных проёмов, которые напоминали входы и выходы в его собственные владения, – и если так, то, может, он сам жил в каком-то огромном, главном шкафу и был такой же чьей-нибудь вещью, как хранящийся в нём спичечный домик или музыкальная шкатулка, из которой, когда её доставали и заводили, поочерёдно выскакивали то солдат, то балерина, чтобы потом плавно скрыться в микроскопических недрах, – если так? От размышлений делалось тревожно, и картина бессмертной жизни, обещанной ему столярным демиургом в его первых разрозненных воспоминаниях в облике шкафа, становилась сомнительной.

Поэтому шкаф предпочитал не обращать внимания ни на эти проёмы, ни на большое настенное зеркало, напоминавшее и о треснувшем стёклышке, и об отвалившемся декоре, а смотреть прямо в окна. Окна были тоже большие, светлые и выходили прямо на Неву. По Неве то кораблями, то льдинами, то облаками текло время – и оно-то было соразмерно тому времени, в котором существовал шкаф. Он с удовольствием следил за этим движением, сочувствуя тем, кто попадал в дождливую пору, когда и в его теле набухало какое-то прошлое, мучительно невозможное бытие, и радуясь солнцу. А в белые ночи возникала странная связь между торопливой пересменкой зари и заключёнными в дубовых глубинах человеческими душами. Они будто вырывались из заточения и витали где-то там, чайками над рекой, свободные и безмятежные. Наверное, так казалось, а происходило с самим шкафом, но что-то же с ним происходило!

Однажды осенью шкаф увидел, как на рейд движется серый корабль, какой-то мрачный и тревожный. Весь этот день тревога не покидала ни его, ни людей, которые все сгрудились в одной комнате, но почти не говорили, а только смотрели то в окна, то друг на друга. Поздно вечером грянул залп, сразу же за ним – второй, и смутный гул, словно приближающейся волны, покатился по закону. Затем всё стихло, но вскоре жизнь переменялась.

Прежде всего, люди стали какими-то другими – пугливыми и таинственными. Вдруг появился тот человек, письма которого хранились в уголке ящика. Шкаф сразу же его узнал – не по запаху, а по мечте, хотя и пах тот странно, кожаным диваном, одно время соседствовавшим со шкафом в комнате. Что он появился – этому было какое-то предчувствие, но вовсе неожиданным оказалось, что человек этот стал хозяином. Раньше шкаф такого не знал, напротив, чувствуя себя могучим хранилищем человеческих душ, он сам, скорее, был здесь хозяином. Но этот, явившийся, посмотрел на него особенным взглядом, от которого по спине медными гвоздиками пробежали мурашки. В средний ящик человек положил что-то тяжёлое, стальное, – и шкаф удивился, как он существовал без всякого хозяина.

Вслед за тем начались внутренние перемещения. Из нижней части, *комода*, начали исчезать вещи, зато в верхней, в *буфете*, стали появляться продукты, которые раньше были за двумя стенками, на кухне. Впрочем, продукты быстро убывали. Посередине, в *ящиках*, тоже переменялось. Многие бумаги сожгли, и аромат сторевших мечтаний ещё долго ночами тянулся по квартире. Вместо бумаг стали класть вещи временные, несуразные.

Казалось, потрясениям не будет конца, и шкаф даже начал хворать. Дверки поскрипывали, он подсел на заднюю левую ножку, а за спиной, куда не доставала никакая метла, потихоньку завелась плесень. Но вдруг как-то всё успокоилось, вещи вернулись на привычные места, и каждый день стал похож на предыдущий. Лишние люди исчезли, а зато у хозяина родился малыш, дочка. Сначала она много кричала, не давая по ночам чувствовать жизнь, но быстро выросла, стихла и стала, как и взрослые, на целый день уходить из дома. Прежде никогда не было, чтобы шкаф так подолгу оставался один. Он, в основном, дремал и сквозь дрему пытался вспомнить то время, когда был дубом и умел шелестеть зелёными листьями. Иногда на нём оставляли открытую книгу, – и он подставлял её сквозняку, вслушиваясь в шелест страниц.

В это же время шкаф пристрастился к радио. Хозяин, верно, догадался об этом, потому что распорядился, всем уходя из дома, радио не выключать. Там были ненужные слова и музыка. Музыка шкаф понимал. Она напоминала ему птиц и вьюги, и осенний ветер, срывающий пожухлые листья, и радость первых почек. Ещё в музыке звучала бесконечность, такая же, как в нём самом, а больше её не было в его мире. Лучше всего было слушать именно дремля, в том расплывчатом состоянии, когда не оставалось никакой иной действительности. Так шкаф продремал, видимо, долго, потому что дочка хозяина доставала уже до средней полки буфета, где всегда стояла вазочка с конфетами.

Но в одно тихое солнечное утро, когда все люди собрались дома, а с проплывающих мимо кораблей махали яркими флажками, радио заговорило незнакомым страшным голосом. Люди заплакали, и шкаф догадался, что снова будет беда. Словно подтверждая её, донёсся громкий далёкий залп. За ним, как и в тот раз, последовал другой, но вместо тишины – ещё и ещё залпы. Их были сотни, тысячи, столько, что нельзя было задремать, они то подкатывали вплотную к шкафу, то отступали. В окно шкаф видел, как из Невы выскакивают серые столбы, как полыхают и падают дома на противоположном берегу, как в низком небе проносятся громадные чёрные птицы. Потом видеть стало нельзя: окна завесили фальшивой ночью; а когда исчезло радио, не стало существовать и времени. Шкаф уже не очень удивился, когда, вслед за этим, исчезли и люди.

Шкаф долго простоял один, вслушиваясь в непрекращающийся грохот, а потом в квартире появились новые люди. Они были очень худые, со скрюченными пальцами и серыми веками, двигались и говорили медленно, как во сне. Вместе с ними возникла маленькая железная печка. Её кормили чем попало – старыми журналами, щепками, обломками стульев. Новые люди окружали печку и часами сидели близ неё, протягивая к огню руки или варя в мятом котелке свою еду. Шкаф же потихоньку опустел, причём все бумаги, старые журналы и картонные папки, что в нём остались, съела печка.

А всё равно было холодно: веяло теми далёкими днями, когда трескается кора, снежная пелерина окутывает весь ствол, и чувствуешь в дупле чьё-то замёрзшее тело. Люди, в чём появлялись из-за фальшивой ночи, в том и ходили по квартире, но шкаф видел – они не могут согреться. Некоторые умирали. Шкаф давно понимал смерть как отламывание ветвей от какого-то всеобщего дерева, и недоумевал, в чём причина горя, ведь ещё долго оставались и мечты, и запахи, и перезвоны.

Как-то он очнулся от треска. Шкаф подумал, что это принесли новые дрова, но нет, это трещало в нём. Какие-то сосуды лопались, не выдержав мороза. А дров в этот день вообще не было. Вместо этого один из страшных худых людей подошёл к шкафу и погрозил ему иззубренным топором. Он даже ударил, но топор отскочил от ледяной дубовой поверхности. Тогда он стал руками отрывать планку – словно нарочно, которую хозяин перед самым исчезновением заботливо проклеил и плотно привинтил. Всю он не оторвал, но кусок отломил, – глаза его зажглись, и он понёс его в печь, держа в руках, как уже огонь. Шкаф сжался. В нём вдруг вспыхнула родовая память: огонь – это не тёплая игрушка, а казнь. Одновременно он осознал смерть. Оказывается он и был этим большим, главным деревом, – и сейчас ему предстояло исчезнуть по частям. От ужаса он вновь оцепенел.

Тогда в комнате появился другой человек. Эти двое стали друг на друга кричать и плакать, который с топором замахнулся на второго, и шкаф изумлённо ожидал, что он отломит и от него кусок и понесёт в печь. Но тот уронил топор и ушёл. После этого печка топилась каждый день. Это были странные дрова – то штакетина от забора, то брикет опилок, то смёрзшаяся стопка серого картона. Люди умирали, но шкаф больше не трогали.

Потом грохот, к которому шкаф привык, как прежде привык к стуку ходиков, висевших на боковой стене, покатился куда-то вдаль и стих. Сняли фальшивую ночь, и шкаф увидел, как по Неве плывут, подталкивая друг друга в загрибок, большие белые льдины. На некоторых лежали собачьи трупы с вывороченными внутренностями.

К этому моменту шкаф стал совершенно пуст и, наверное, поэтому испытывал тоскливое чувство к окружавшим его людям. Он был не нужен здесь. Жизнь вроде бы шла, но шкаф пустовал и стоял чужаком; однако, когда птичья стая, словно брошенный в небо ворох листьев, пересекла горизонт, его охватило предчувствие. Он не знал, чего ждёт, какой иной судьбы, до той последней секунды, когда раздался неурочный звонок, дверь отворилась, и в комнату вошёл хозяин. Хозяин, в мокрых очках, бросился к шкафу и стал гладить его старые и новые раны. Он пах сладкими незнакомыми фруктами и песком.

Из разговора хозяина с худыми людьми шкаф, научившийся о многом догадываться, понял, что, как хозяин безропотно уступает им право на квартиру, так безропотно они возвращают ему шкаф. Хозяин на прощание ещё раз погладил его и шепнул, чтобы он готовился к переезду. Шкаф же из всех подробностей того первого дня, когда его ввезли в этот дом, помнил только то, что было тяжело и весело. И он стал готовиться, воображая переезд.

Вернулось радио, пошёл снег и задрезжал трамвай, – только тогда хозяин явился за шкафом. Четверо обняли его тугими ремнями, шкаф с кряхтением оторвался от пола и поплыл по лестнице. Его взгромоздили на машину. Она понеслась по городу, а шкаф с близкой высоты взирал на всё то, что раньше взгляд его краешком захватывал из окна. Он, в сущности, не успевал ничего понять, а только складывал в себя впечатления, благо был пуст. Его привезли в тихий дворик, и началось восхождение. Шкаф снова кряхтел, раскачивался, его ссохшиеся суставы скрипели, внутри развинчивалось, он то и дело застревал, а когда, наконец, втиснулся и после долгих усилий выпрямился, то ясно осознал, что это увлекательное путешествие было последнее в его жизни. Потом приходил специальный врач, вроде как он видел у людей, чем-то намазывал его и стягивал лангетами...

Раны скоро зажили, и жизнь потекла по-прежнему, только дочка хозяина совсем выросла, и вместо радио появился телевизор. Его поставили боком, так, чтобы шкафу удобно было смот-

реть, как музыку не только поют, а и танцуют, или как странные деревья с огромными листьями вместо ветвей растут прямо из песка, запах которого ему уже был знаком, – но и чтобы он мог отвернуться и не видеть, когда на экране возникал огонь и грохот.

Днями он теперь часто разговаривал с тополями. Конечно, они заслоняли ему даже этот маленький дворик, и солнце в летний день едва просачивалось сквозь листву, зато они понимали его язык и многое могли рассказать из того, что происходило там, за окном, в той жизни, какую он углядел из грузовика. Правда, тополя были несколько бестолковы, часто перебивали друг друга, а объяснить толком не могли, научившись этому, видимо, от воробьёв, что порою часами прыгали по веткам и галдели непонятно о чём. Всё же через воробьёв можно было узнать далёкие вести.

Так и шло; и как-то к хозяину пришёл человеческий врач и увёл его с собой, – хозяин ненадолго вернулся, а потом совсем исчез. Вместо него появился опять другой человек, которого следовало называть – муж дочки хозяина. Никакой маленькой девочки, правда, не появлялось, и смутное беспокойство посещало шкаф; но вот и девочка появилась, сразу большенькая, на резвых ногах и с тихим голосом. Она быстро росла, и когда возник ещё малыш, которого следовало называть – дочка девочки, появившейся у дочки хозяина, – шкаф понял и своё былое беспокойство, и своё счастье. От того, чтобы эта цепочка не прерывалась, зависела его судьба. Поверив в смерть, шкаф боялся последнего переезда, который мог случиться, если вдруг явятся другие люди, и некому будет его защитить. А так – он мог бы жить и жить, пытаясь вообразить бесконечность, собирая сны и предания, в ожидании того человека, который заговорит на его языке, достанет блокнот и запишет их. Поэтому младшая дочка была долгим и светлым обещанием.

Правда, чуть повзрослев, она стала бывать очень редко. Вообще, все куда-то разошлись, разъехались, и, наконец, шкаф остался вдвоём с дочкой хозяина. Она медленно бродила по комнатам, держась за дверные ручки или серые палочки, и разговаривала, тяжело дыша и прижимаясь то одним, то другим ухом к белой трубке, с шелестящими знакомыми голосами. В остальном она мало отличалась от шкафа: вдвоём они смотрели телевизор, из которого она, как он от тополей, узнавала, что происходит снаружи их жилья, также плохо спала ночью, перебирая и перебирая воспоминания, так же ждала гостей. С нею было хорошо и привычно; но всё-таки какая-то жилка вздрагивала в шкафу, когда раздавался особенный звонок, и в квартиру впархивала младшая дочка. В ней были – музыка и следующее обещание. Она всегда что-то напевала или приносила неизвестный блестящий предмет, – и из того вытекал её голос. Тогда старая дочка хозяина покачивала из стороны в сторону головой и пыталась незаметным движением поймать у себя на щеке слезинку. Прежде чем и она умерла, приехал заветный гость, выслушал шкаф и записал его историю.

На запятках

Сестра

На бетонных блоках под Тель-Барухом, между плакатами «Not swimming!» и «Not climbing!» сидели три еврея.

Фраза нуждается в уточнении. Сказать, например, что трое русских сидели на Бородинском поле или в Сандуновских банях, нельзя, нелепо. А тут вроде бы и ложится на слух, не коробит, однако корёжится деталями. Если уж соблюдать лексическую чистоту, то лишь один из этой троицы сносно и с энтузиазмом говорил на иврите; другой, носивший почти былинное имя Даниил Юрьевич («Июриевич» – при знакомстве растягивал он дифтонги), не слишком шедшее к его узкому, подвижному лицу, когда речь заходила о национальности, презентовал себя решительно: космополит; а третье лицо – вообще была женщина, к тому же *трёхчетвертная*, как подумал, выделявая и тут же топя зачинную фразу в кровных сплетениях, этот самый Даниил Юрьевич, болельщик «Красного Яра». К тому же и внешность её, несмотря на возраст, который она воинственно не скрывала (старший внук учился в Кембридже), была какой-то очаровательной снежности, вовсе чуждой этим знойным местам: блондинка, чуть курносая, широкоскулая, с бесятами в тёмно-карих глазах. Все трое в Израиле оказались волею случая, уже готовясь к расставанию со страной.

Шёл некий час пополудни, море отступало, обнажая зелёные дёсны камней, но ветер разыгрался, то и дело среди волн вздымались валы, по три-четыре подряд, не удерживающие собственных голов и рушащие их в камни. Прозрачная кровь Посейдона обрызгивала ноги сидящих. Получалось, море отступало, всё время рвань вперёд.

– Как арабы в предпоследнюю войну, – тихо сравнил первый, Яков Мильштейн.

– У вас эти войны как пионерские утренники, – мгновенно откликнулся Даниил (отчества, увы, здесь исчезали сами собой), собственно, только присоединившийся к компании. – Ждёте с воодушевлением. Побомбили, отхоронили, поафосили. *A la guerre come out хер*.

– Ну, вот же, мир, – Мильштейн раскинул руки стрелками компаса, демонстрируя не столько охват пространства, сколько продолжительность мирной жизни.

Даниил вскочил и язвительно поклонился в сторону солнца. Затем быстро разделся, блеснув бронзовыми, как и его лысоватый лоб, чреслами и устремился в море.

– И почему *у нас*? – обиженно спросил Яков у их общей спутницы, которой несколько робел и потому нуждался в поддержке.

Она же, **Р**, не знала, что ответить, поскольку не помнила, что это за предпоследняя война, да и не очень интересовалась. Однако промолчать вежливость не позволяла, и она повторила недавно от кого-то услышанное:

– Здесь не бывает мира, только перемирие.

Мильштейн насупился. Мелькнула смутная магическая мысль: на правду не обижаются, и если он обидится, то это и не будет правдой...

Даниил накупался, подставил спину волнам, и те в три хода выставили его на берег. Довольно отфыркиваясь, он поднял полотенце, бросив на **Р** быстрый и, как ей показалось, лукавый взгляд и повернулся к солнцу. Хотя как же ей могло показаться, если она старательно не смотрела на него, в то же время пытаясь придать этой старательности незаметность, то есть не вовсе в сторону, а вскользь и несколько вверх, словно её вдруг заинтересовало приближающееся облако? Верно, ему показалось, что так показалось ей; и он с неожиданной для себя заботой подумал, не принимает ли она его естественное, без всяких намёков, поведение именно как злостный намёк или, наоборот, пренебрежение...

А может, и так. Во всяком случае, год назад, явившись в Хайфу, она была удивлена, как часто чуть ли не на второй день знакомства её спрашивают «*do you free tonight?*», – и двусмысленные вопросы эти, как и обжигающие взгляды, и душные, наполненные ядовитыми ароматами *ночи*, возбуждали нервы, инкрустируя деловые будни ожиданиями, от которых перехватывало горло, и мимолётными ослепительными встречами... Но грант был исчерпан, *job is done* (намедни Даниил произнёс это с таким скабрёзным акцентом, что она, поотвыкшая от сальностей, чуть не хлопнула его по щеке, но тут же рассмеялась), Хайфа осталась позади, впереди – долгая дорога и старая новая жизнь. Затевать промежуточные романы ни к чему, хотя нет-нет, было приятно почувствовать в двух этих симпатичных земляках так по-разному выраженное и неотчётливое, а всё же осязаемое, как солоноватый привкус воздуха, желание...

Над берегом, неприятно жужжа, пролетел дрон.

– Сейчас явится полиция и вас оштрафует, – заявил Яков.

– За что бы это? *Che cos'è?* – Даниил Юрьевич уже натягивал, поигрывая плечами, футболку. Никаких языков не зная (да и с русским управляясь своеобразно), он всюду вставлял их колючие обрывки, чем-то напоминающие жуков, стремительно проносившихся перед самым лицом и вдруг падавших и зарывавшихся в песок.

– За купание под запретом. Плюс нудизм в неполюженном месте.

Данил засмеялся.

– Я заявился вон оттуда, – махнул он рукой к северу. Берег в той стороне повышался, превращаясь в холм. – Какие-то там рытвины, овраги, что ли... Разумеется, что-то воткнуто: *danger of collapse*, ха-ха, не лезь, не подходи, не нюхай...

– Ну, и не лезьте, – хмуро сказал Мильштейн.

– Вы, Яшенька, какой-то беспримерный примиренец. Здесь *prohibited* на втором месте после слова *мама*. Майн гот! Вот это приехал ба левакер!

– Тавтология, кстати. Вы бы говорить правильно выучились...

– О чём говорить-то? Здесь молчать надо научиться! Всё можно, но ничего нельзя. Сел на велосипед, – любой путь кончается тупиком или колючей проволокой. Ходи всюду, но по струночке. Тут не сорви, там не задень. Сакрементально!

– Так и чего, спрашивается, приехали? Раз не нравится... – выслушать *Яшеньку* было неприятно, но не Даней же было отвечать. Он предпочитал никак не обращаться к собеседнику.

– К чилдернам же, а куда денешься. И потом, я не так критикую, я разобраться хочу – кому это нравится. Море – молоко парное, почему не поплавать?

– Ну, это у нас в Сибири оно парное. А здесь не сезон ещё. Спасателей нет. Поэтому. Да и никто не гонит же, просто предупреждают...

– Видывал я, и как гонят, – упрямо сказал Даниил, махнув сейчас рукой к югу.

Р переводила взгляд с одного на другого и вдруг засмеялась, но как-то печально:

– Вот сошлись два сибиряка. Теперь до ночи друг друга не переспорите. А там сейчас снегу!.. В море-то я наплавалась... за четверть века. А вот снится иногда: разбегаюсь – и в снег...

– А я который раз приезжаю – очень нравится, – сказал Мильштейн с несколько воинственной пасмурностью. – И дышать легко, не нашим смогом. И в переносном смысле. Отношения тут человеческие.

– На Западе вообще люди другие, – теперь **Р** его поддержала.

– До первого полицейского, – брякнул Даниил. – И стемнеет-то вот-вот, не доспорим.

– Так вот и его матушка, бывало, – покачала головой **Р**. – Как пойдёт городить...

От *матушки*, всплывшей так, что до того будто и не по-русски они разговаривали, а на каком-нибудь эсперанто или Алголе, пахнуло тем же снегом, парным молоком и далёким прошлым, в котором, оказывается, между ними тремя то возникали, то распадались, ретроспективно дразня, эфемерные связи, существовали общие знакомые, возможно, они даже

встречались, теперь не узнанные, на перекрёстках растаявшей судьбы, кидая друг на друга рассеянный взгляд, но, не окликнутые будущим, тут же друг друга и теряли в трамвайной толпе. А познакомились лишь третьего дня – и не слишком-то удивились.

– Так и вы тётю Нелли знали?

– А я у неё в студии, получается, занималась. Совсем маленькой. Лицо хорошо помню, руки. Голос, конечно. А вот что за студия – не то вышивка, не то лепка...

А может быть, просто трудно уже было чему-нибудь удивляться. Но Яков Мильштейн попробовал.

– Посмотрите только на эту красоту! – он встал, раскинул руки и обнял мир. – Море плещется, цвета, цвета... я даже не знаю...

– Цвета морской волны, – вставил Даниил.

– Ну, пусть. Пальмы вон растут. Солнце, зелень. Людей вон сколько, спортсменов, и никто не бедствует, никто не матерится. Дети заняты. Горизонт... Разве вы не чувствуете, как легко и прекрасно здесь жить?

– Что же сами не остаётесь?

– Служба у меня такая, – Яков опять сел на блок, взял палку и порылся в песке, будто думая найти особенную ракушку, в довесок к восторгу. Попались только сломанные, никчёмные, потом из песка вынырнула жестянка и полусгнивший носок.

Даниил хмыкнул, пнул банку и произнёс ядовито:

– Паучья служба.

– Как вы это воображаете? – живо отозвался Яков. – Что я заманиваю глупых собейских обывателей райскими кущами, а потом распределяю их по кибуцам и ешивам, наверное, не без гешефта, так что ли? Да вы ведь сами знаете, как нынче – люди приезжают, и не по разу, знакомятся, примеряются. Ваши ведь так же, наверное. Как им, между прочим?

– Манишма-а, – нараспев передразнил Даниил. – Бебекаша-а. Им-то нравится. Но ведь именно между прочим, между заборами, и это чисто субъективное впечатление, оно же не отражает... А начнёшь спрашивать – что, конкретно, – мычат.

– Знаете, Даниил Юрьевич, чем больше у вас аргументов, тем как раз субъективнее они становятся, – сказала Р, лучисто улыбнувшись. У неё и голос, кстати, был хрустальный, молодой.

Он смешался – не перед словами, перед голосом. Все эти дни мечталось взлёта, чего-то внезапного, пронзительной наготы чувств. Уж если здесь, где так и так через одно вниз головой, – то... А было обыденное, пыльный, стёртый какой-то, будто нарисовали цветными карандашами, да провели по нему резинкой, город с пальмами вместо ёлок и маленькими зелёными попугаями вместо синиц. А вот положить голову на эти колени, шуршащие серебристой плисировкой, – это бы да! Он сказал тихо и серьёзно:

– Вы думаете, что, избегая пристрастности, удастся нарисовать объективную картину?

– Объективную! – не сдержался фыркнуть Мильштейн. – На нашу-то собейщину кто едет? Одна Азия. А сюда за эти уже четверть века миллион народу перетекло. И вообще, не больно-то с Запада возвращаются. Вот вам и объективность.

– Вы вправду считаете, что тут Запад? – Даниил даже подошёл поближе, чтобы заглянуть в тёмно-серые очки Якова.

Тот поднялся, но, будучи повыше, да и шире в плечах, сейчас, когда они стояли так попугайному близко, выглядел не грозно, а, скорее, как растерянный родитель, убедившийся, что никакие его внушения и доказательства не действуют. Он даже обернулся к Р, будто опять за поддержкой. Или ему хотелось, чтобы она и ему так же улыбнулась. Пусть не из сочувствия, а в порядке равенства. Что делать с её вниманием, за которое оба так исподволь и настойчиво боролись, в нём не решилось, то есть он не решился на эти мысли. Он не за романтизмом сюда ехал, даже и избегал беспорядочных знакомств, в которые могла проникнуть и политическая

интрига, хотя он не слишком в это верил. Он боялся разочарований. А **Р** была вовсе необычная – с прекрасной фигурой, однако в таком возрасте, почти доступная, сама – тянущаяся то ли к мечте, то ли к приключению, но когда накануне в кафе, не дав за себя расплатиться, она накренила сумочку, и из той выскользнул «Science» с её фотографией на обложке, – за тем простодушием, с каким она отмахнулась («а, подстерегли!»), почувствовалась жизнь другая, олимпийская, откуда она точно сбежала по ступеням облаков...

Он так и не ответил, только пожал плечами и выразительно показал рукою наверх, откуда слышалось громкое разноречье, звенели велосипедные звонки и где возвышались, полукольцом охватывая пространство, молодые небоскрёбы, ещё не головокружительные, но теснящие друг друга, выглядывающие из-за спин.

– Один город, – сказал Даниил. – И даже не город, а какой-то... анклав. Экспериментальный участок. Нет, господа. Современный Израиль, точно, создали европейцы, да Запада-то сюда не перенесли, ускользнул он из-под носа, ускакал давно в родные стойла, а вы всё за задки хватаетесь. А то, что сюда валят, так это факт психологический не менее чем социальный. Да даже психиатрический.

– Тогда уж исторический, – возразил Яков. – И это история не вековая, а тысячелетняя, долгая и мучительная история обретения истинного дома. Вы же это должны... ну, если не чувствовать, то сознавать. Вы, как я понимаю, никогда не были поклонником режима – хоть в коммунистической, хоть в нынешней его версии. А здесь становитесь... чуть ли не патриотом. Конечно, тут работают тонкие связи, я бы сказал, двойного духовного гражданства. Вкоренённость в изначальную культуру, будь то русская, французская, американская...

– Американская? – вставил Даниил. – Вы хотели сказать – марокканская? Что-то я не слышан о пиндосских репатриантах. Погулять, вложиться и овечек постричь – это да.

– Грубо. Так я о чём?

– О культуре, – подсказала **Р**. Она явно была заинтригована спором, притом не выпуская из виду весеннего солнца, скользящего меж облачных барашков. Будто невидимый небесный форвард выводил мяч на ударную позицию. И мяч потихоньку рыжеватого наливался.

– Так вот, – наморщил лоб Мильштейн. – Двойственность еврейской судьбы, жизнь в двух ипостасях, в двух культурных системах порождает многочисленные и загадочные комбинации, каких не знает ни одна мировая нация. Следствием этого и является наша способность сидеть на двух стульях, иногда выгодная, иногда трагичная, эти колебания между традициями и парадигмами, умение спрятать свою душу в лабиринтах культуры. От этого и ваше, такое типичное, отрицание, отрицание, по сути, самого себя. Люди иногда не решаются самим себе признаться, кто они есть. И в то же время, какие удивительные эффекты возникают, когда две половинки находят одна другую, совпадают и рожают новое качество, – отсюда такое непропорциональное количество выдающихся евреев – да что там, гениев! – во всех областях жизни, науки и искусства. Ибо такая двунациональность – это не сплав, а химическая реакция...

– Во всех, да не во всех, – сказал Даниил и зачем-то швырнул в море камень. – Наука интернациональна. Но уже в музыке столько великих исполнителей – и ни одного композитора. А главное, неужели вам не приходило в вашу голову (**Р** засмеялась этому обороту), что еврейский язык, а шире – еврейское самосознание, с Ветхого завета, после Соломона, то есть за три тысячи лет, не создал в литературе ничего гениального? Ничего! Евреи от литературы становятся гениальны, только выходя в пределы русского, немецкого или английского языка и при условии отторжения национальной проблематики.

– Как же! А... – Яков воскликнул и тут же осёкся, как вот бросаешься в ало полыхнувший малинник, а глядь – одни ягоды розовы, другие перезрели и скисли, а остальные порчены тлём.

– Ну, дали одну нобелевку на бедность, так кто его и помнит... этого... я сам забыл. Пустота! А знаете почему? – напирал скептик. – Да потому что язык может быть космосом, а может – тюрьмой. Еврейская литература проникнута местечковой психологией, из которой

вырваться – значит, вообще вырваться за пределы еврейства. И, кстати, весь Израиль-то, географически, это конгломерат таких местечек, каждое со своей микрокультурой, со своими обычаями, особенностями, идеями, со своей общинной отгороженностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.